

**Ж**

аловаться на жизнь старому Никите Ивановичу вроде бы не приходится. Живет он у старшего своего сына Василия (младшие дети — Иван и Даша — обосновались по большим городам, в отдалении) в полном обеспечении и достатке. Одет, обут, накормлен-напоен — а что еще в преклонном таком возрасте (Никите Ивановичу без двух девяносто) человеку надо.

Конечно, пока была жива жена Никиты Ивановича, Дарья Михайловна, Даша, он отрадней себя чувствовал и уютней, тут и говорить нечего. Они с Дарьей Михайловной за столько лет совместного проживания сроднились в одно-единое: всюду рядышком, всюду вместе от самой войны. Но Дарья Михайловна поторопилась, ушла на покой раньше Никиты Ивановича, хотя и моложе его на целых пять лет. Теперь Никита Иванович — один.

Каждое утро, едва вскинется заря, он выходит на улицу, садится на лавочку возле забора и начинает коротать день. А он тянется, будто год: солнце зависнет над березняком и пойменным лугом и ни с места, хоть оглоблей-шестом его подталкивай, сияет, горячится и, кажется, вовсе не намерено клониться к полудню, а потом к вечеру и к ночи.

Но это бы ладно, это бы можно и вытерпеть, конец дню все равно будет, солнце истомится и на покой уйдет. Главная же беда для Никиты Ивановича, что не может он уже по слабости сил своего здоровья работать: ни пахать, ни сеять, ни косить, ни рубить дрова. А охота, так охота, что иной раз нету никакого терпения и мочи. Все бы, кажется, сделал, горы бы каменные своротил, а сил совершенно не в достатке, до лавочки без подмоги и то не всегда добредает.

Вот и нынче невестка Наташа сопровождала Никиту Ивановича за калитку, приладила к забору, поставила рядышком черепающую миску с его любимыми крахмальными блинчиками и литровый кувшинчик утреннего теплого еще молока.

— Поешьте, когда захочется, — ласково наказала она ему. — Не сидите голодным.

— Ладно, поем, — пообещал Наташе Никита Иванович, чтоб не огорчать ее, хотя на самом деле ничего ему есть не хотелось. Еда — она работника любит, трударя, а такому бездельнику, каким стал теперь Никита Иванович, никакая кормежка не впрок.

Невестка, Наташа, у Никиты Ивановича золотая. Никогда грубого слова не скажет, не попрекнет, а чтоб уж поперек идти, так этого с самого первого дня не случилось. Она и с покойной Дарьей Михайловной такая была, и с Василием, все — Вася да Вася. Поэтому и живут они с ним в хорошем семейном ладу, Никиту Ивановича немощного и хворого доглядывают.

— И молока попейте, — повторно наказала ему Наташа. — Я только сейчас Зорянку подоила.

— Попью и молока, — дал обещание ей и насчет питья Никита Иванович.

Но, по правде говоря, и молока ему пока неохота. Жажда, она тоже от работы приходит. Когда хорошенько наморишься, изойдешь потом — вот тут и молоко, и холодный погребной квас, и колодезная родниковая вода в самый раз. А прозябая на лавочке возле забора, ни о чем таком и думать не хочется.

Минут через десять-пятнадцать после Наташи заглянул к Никите Ивановичу и Василий. Он мужик тоже уже в годах, третье лето как на пенсии, но, слава Богу, еще при силе и при здоровье, работает, ломит за троих, как прежде ломил и сам Никита Иванович, иначе откуда бы в их доме взялся крестьянскому благополучию.

— Ну, как ты тут? — остановился Василий в двух шагах от лавочки.

— Сижу, — не очень весело ответил Никита Иванович. — Что со мной сделается?

Василий подровнял на лавочке кувшин-кринку, чтобы он был под рукой у Никиты Ивановича, а потом вдруг сообщил:

— Мы с Наташей в город собрались съездить, к Сергею (Сергей — это сын Василия с Наташей и внук Никиты Ивановича, он с семьей в районе живет, за пятнадцать километров). — Ты потерпишь до вечера?

— Потерплю, чего ж не потерпеть, — как бы даже и обиделся на Василия Никита Иванович — первый раз они, что ли, путешествуют к Сергею, оставляя его на хозяйстве. — Не дите малое — езжайте.

Василий обиды его то ли не приметил, то ли оставил ее без всякого внимания: старый, что малый, за всеми капризами их не уследишь.

— Калитку на щеколду мы запирать не будем, — предупредил он на прощание Никиту Ивановича. — Зорянка сама ее откроет.

— Не запирайте, — смирился с этим Никита Иванович, хотя уж что-то, а калитку, когда Зорянка придет с пастбища, он мог бы и открыть — до нее от лавочки и идти-то всего три шага.

Но полного доверия и в этом к Никите Ивановичу нету. Вдруг запамятует или, пока добредет до ворот-калитки, Зорянка вся нетерпением изойдется — ей ведь первым делом после пастбища воды охота попить из бочки, что стоит возле сарая. А если же калитка на щеколду не заперта, то Зорянка толкнет ее рогами (приучена уже к тому) и вся недолга — вот он, водопой.

Пока Василий переговаривался с Никитой Ивановичем, давая ему наставления (теперь хозяин в доме он — чего там говорить), Наташа появилась на крылечке вся принаряженная, праздничная, с двумя увесистыми сумками в руках — деревенские подарки внукам-правнукам.

Василий тут же выгнал из гаража машину-«жигуленка» и причалил к крылечку, прямо к ногам Наташи, чтоб она лишнего шага с поклажей не сделала. Это Никита Иванович одобряет: такую жену, как Наташа, на руках надо носить, а не то что в «Жигулях» катать. Никита Иванович, бывало, тоже, когда собирался с Дарьей Михайловной в город на базар-ярмарку ехать, так подводу (машин в те годы ни у кого и в помине не значилось), непременно к крылечку причаливал. В кузовок загодя травы положит или свежей соломы-обмялицы, половичком ее сверху прикроет, чтоб Дарье Михайловне сидеть было мягко и нетряско. Она того не меньше Наташи заслуживала — жена и подруга Никите Ивановичу была верная, только тем за всю жизнь и огорчила, что умерла раньше положенного срока.

Василий и Наташа в четыре руки быстро погрузили в багажник сумки и еще отдельно, в кузовках и корзинах, яблоки-житницу и раннего созревания сливы — вот уж подарок внукам-правнукам, так подарок.

Перед отбытием Наташа в последний раз попытала Никиту Ивановича:

— Вам ничего не надо?

— Да не надо, не надо, — поторопил он ее. — Езжайте с Богом.

Машину Василий с места тронул плавно (так и Никита Иванович подводу когда-то трогал), чтоб Наташу не побеспокоить, не огорчить резким толчком в самом начале движения. Никита Иванович проводил машину взглядом до поворота (не едет, а будто лебедь по волнам плывет — вот какой Василий мастер-шофер, механизатор широкого профиля), потом укрепился головой-подбородком на палке-кривульке, без которой теперь ни единого шага сделать не может, и не то задремал, не то провалился в стариковское усталое забвение.

Пребывал он в том забвении, может, минут пять-десять, а может, и час-полтора (течение времени Никита Иванович теперь иной раз определяет с трудом), а потом вдруг пробудился, словно что-то толкнуло его изнутри, огляделся вокруг и опять затосковал-закручинился по крестьянской неотложной работе. Дома ее, поди, непочатый край, а он от немощи своей сиднем сидит на лавочке, себе и людям в укор. Лучше уж помереть: тогда все понятно и простительно — мертвому какой укор и поучение. А пока жив, надо работать, трудиться, потому как жизнь человеческая, если отбросить все лишнее и постороннее — есть работа.

Никита Иванович себя с самых малых, считай, что еще и младенческих лет только в работе и помнит. Выбежал он однажды во двор, чтоб песчаную горку-крепость соорудить или зазевавшегося какого мотылька-

бачку картузом поймав, а отец (после на войне он без вести пропал в самом начале ее, осенью сорок первого года) в повети двуручной пилою дрова на козлах пилит. Никита мальчонка-мальчонкой, а сообразил, что коль пила двуручная, то ею и пилить надо вдвоем. Он оставил мотылька-бабочку в покое, подошел к отцу и попросил:

— Можно и я?!

— Давай, — улыбнулся отец, радуясь неожиданному такому помощнику.

Никита взялся за ручку двумя ладошками, и начали они пилить с отцом бревно в паре. Помощь не помощь, а все ж таки пила в прорези ровней идет, не вихляет со стороны в сторону. Вот с того дня и часа Никита Иванович и сознает свою жизнь, будто именно тогда и родился, а до этого — все, как в тумане.

Или вот еще. Едут они с отцом в лес по дрова. Два младших брата — погодки, Степан и Ваня (на войне тоже оба погибли, а уж ребята были не чета Никите Ивановичу: один танкист, другой — моряк, он же всего лишь пехотинец и сапер-плотник) дома, при матери, им пока в лес рано. А Никите уже и вовремя — восьмой год идет. Отец доверяет ему вожжи, а сам сидит рядышком на грядущке, покуривает. Никита правит буланым коньком с полной отвагой и умением (куда твой мужичок-с-ноготок), аз-зя, без необходимости за ременные вожжи не дергает, кнутом-пугой не замахивается, но и чрезмерной воли и своенравия буланому коньку не дает.

Разговор у них с отцом идет самый серьезный и рассудительный: куда лучше ехать за дровами — в урочище Смолярну или в Малые горы.

Отец склоняется в Малые горы: там по болотинам-низинкам чаще попадаются сосны-сухостоины, которые можно пилить безбоязненно — ни лесник, ни лесничий за них ругаться не будут. А живую сосну, Боже тебя упаси, трогать не смей. Это дело предосудительное и незаконное.

Никита же заманивает отца на Смолярну, где в березовом молодом перелеске можно вырезать гибкое удилище. Доказательство, конечно, веское, но отец все-таки настаивает на своем, и первую ходку они делают в Малые горы. И не ошибаются: сухостоины там действительно попадают-ся часто — успевай только оглядываться.

Работают они с отцом опять в паре, рука об руку. Вместе сваливают сухостоину, вместе обрубают сучья (отец специально отковал для Никиты в кузнице маленький заданной топорик), вместе кряжуют. Потом укладывают бревно на телеге, туго, внакрут, увязывают конопляной веревкой и отправляются в обратный путь, домой, где их ждут не дождутся мать и два брата.

И как хорошо им в эту минуту: отцу с сыном, уже настоящим помощником и наследником в мужской работе, и сыну с отцом-родителем, строгим, но во всем справедливым наставником и поучителем...

Или вот еще, к примеру, — пахота. Земля пробуждается к новой жизни и плодородию, уже вся в первой зелени по межам и палисадникам: густо-зеленой крапиве, чистотеле, в желто-горячих одуванчиках-кульбабах; сады в первом цветении и кипени, роятся пчелами и шмелями; в небе вьются жаворонки и ласточки; река за огородами в широком, неоглядном разливе — весна, жизнь...

Отец прокладывает на пароконном плуге начальную борозду, а потом доверяет упряжку Никите (ему уже лет десять), подсобляя лишь на разворотах, где Никита сам занести, забросить плуг в новую борозду пока еще

не в силах. Во всем же остальном он доподлинной орацией. Борозду ведет ровненько, словно по нитке и шнуру, кнутовищем вовремя выталкивает из-под ножа и лемеха застрявшую там стерню, на ручки плуга чрезмерно не налегает, держит легонько, необременительно, как научает отец. От весеннего земляного запаха голова у Никиты чуточку кружится и будто хмелеет...

Или вот наступает время сенокоса. Отец с Никитой косят в две косы: отец взростой косою-«девяткой», а Никита пока лишь скосочком-«семеркою». (Позже, перед самой войной, когда Степан и Ваня подрастут и войдут в юношескую силу, они будут косить в четыре косы, вот уж косовица, так косовица, раззудись, плечо, размахнись, рука — все соседи станут нескрываяемо завидовать им: еще бы — отец и три сына-богатыря, не в каждом подворье, не в каждом семействе подобная артель и удаль). Но от отца не отстает ни на шаг, тянет свой прокос-ручку с ним наравне, хотя отец, может, и намеренно ради Никиты чуть попрिдерживает себя в рвении.

Косят они на ранней заре, пока свежо и росно: известное дело — коси, коса, пока роса, роса — долой, коса — домой. Трава на их наделе густая и сочная (овсяница, гусятник, молодая осока под лозовыми кустами близ болотца-заводи), кажется, сама ложится в высокие валки, заманивает, поторапливает косарей.

Часов в десять-одиннадцать мать с братьями переправляются на лодке через реку — везут работникам ранний обед в горшочках, кувшинах и мисках.

Всем семейством они располагаются в тени за кустами и устраивают луговую совместную трапезу.

После обеда-трапезы Никита с отцом позволяют себе небольшой отдых. Вернее, отдыхает, лежит-нежится на расстеленной матерью попоне один Никита, а отец поправляет, отбивает косы в стороне на ольховом пеньке — в том и весь его отдых.

Когда мать с братьями, которые не столько обедали, сколько бегали по лугу наперегонки, прятались, скрывались друг от друга в лозовых кустах, ловили картузами и детскими своими ладошками проворных кузнечиков, уплывают домой, Никита с отцом еще косят часа два, до знойного высокого полудня.

Косьба, косовица из всех крестьянских работ особенно нравилась Никите. С каждым годом он все больше чувствовал и замечал, как во время сенной страды тело у него взрослеет, наливаются мужской крепкой силой, как он из мальчишки-подростка превращается в мужчину, в полноценного работника-земледельца.

Дня через три-четыре Никита с матерью и братьями ворочает, ворошит на лугу валки-покосы. Это работа женская, подростковая и даже детская. Отец в ней редко когда участвует — у него свои заботы: надо поправить заборы, плетни, порушенную ветром-ураганом соломенную крышу, связать на заказ рамы, наборные двери или смастерить для какого-нибудь малыша-младенца табурет-стоячечку (отец первый в селе столяр и плотник). Отрывается он от топора-рубанка лишь в особо чистый и ведренный день, когда подходит пора метать стог.

Тут они на лугу опять всем семейством. Никита с матерью подносят на длинных жердяных носилках копны; отец навильник за навильником укладывает сено по окружью оденка, а братья-огольцы утаптывают его, вершат — это они уже умеют, к этому уже приучены. Когда стог подни-

мается над лугом во весь свой рост, братья укладывают на его макушке в перекрестье лозовые, туго связанные отцом плети, а сами, словно какие белки-куницы, спустятся на землю по носилкам-слегам и на полных правах займут место за скатертью-самобранкой у подножья стога — потому как тоже уже работники, старатели.

Отдыха после косьбы-косовицы у крестьянина мало. Не успеет он оглянуться, как вот уже — Петров день, и другая страда на подходе — жатва. Теперь только успевай поворачиваться, лови, усматривай каждый погожий день. И только он выпадет, так сразу любые-другие, казалось бы, самые неотложные работы в сторону, в отклад — и всем семейством от мала до велика с серпами в руках на огород. (У них на песчаных, не очень плодородных землях в основном рожь сеют, а ее сподручней и необходимей серпами жать, чтоб после, обмоловив в клунях и на открытых токах цепами, крыть прямоствольной «кулевой» соломой дома и сарай). Работа кипит с утра до позднего вечера, до темноты, тяжелая работа, изнемогающая, до седьмого и восьмого пота, но в сласть и в отраду — урожаем убираешь, хлебушек. На жатве Никита всегда в паре с матерью постать занимал, а отец — тот со Степаном и Ваней в одном зажине стоял. Серпы им он, правда, доверять опасался — мальчонки совсем еще, руку раскровенят-порезут. Но и без дела братья не оставались: вовремя перевасла раскладывали, вовремя воду-квас утомленным жнецам подносили, вовремя отцу палочку-цурку подавали, которой рожь связывают в снопы. На жатве эта работа в основном мужская, она силы и сноровки требует немалой.

Снопы, опять же смотря по погоде, они либо складывали на стерне в копы и полукопы, либо прятали в клуне, чтоб через день-другой приступить к молотье. Откладывать ее на потом никак нельзя. Ведь не успеешь в гору глянуть, как уже новая страда на подходе, сентябрь месяц — вот он, стучится в двери и в ворота, напоминает о скорой зиме и, стало быть, надо копать картофель. Последняя в крестьянском году, картофельная страда, тоже занятие артельное, гуртовое. Никита Иванович ее с самого малого детства любил. Солнышко уже осеннее, нежаркое, но еще ласковое; листва на деревьях желтеет, багрянится, а кое-где и вся в позолоте; в небе летают-вьются паутинки «бабьего лета»; на огородах то там, то здесь вспыхивают костерки, на которых мальчишки пекут картошку нового урожая. От ласкового, запутавшегося в паутинках «бабьего лета» солнца, от картофельного сладкого дымка, что тихо поднимается в высокое с редкими кучевыми облаками небо, на душе у тебя становится светло и чисто, будто в великий отдохновенный праздник — на Пасху, на Троицу, на Петров день, или на Рождество Христово.

Нет, без работы человеку жить никак невозможно. Тогда уж действительно лучше сразу, загодя, лечь на лавку и помереть в одночасье. А с работою — жизнь!

Вот взять, к примеру, ту же войну, будь она неладна. Так ведь это тоже в первую очередь работа. Ратная — но работа. И не только в обороне, когда без усталости роешь землю, оборудуешь окопы, траншеи, землянки и блиндажи, управляешься больше топором и лопатой, чем винтовкою, но и в бою, в открытом сражении — работа. Поднимется твой взвод или рота в атаку: и хорошо, если удастся с ходу, с налета сломить сопротивление противника, обратить его в бегство, а если — нет, если начнет он встречь тебя, в лицо и грудь поливать пулеметным и всяким прочим огнем, да таким свинцовым и частым, что командиры волей-неволей пода-

дуть команду: «Залечь и окапываться!». И тут упадешь с разбега на землю и молишь только об одном: чтоб земля под тобой оказалась песчаной, сыпучей и податливой для саперной малой лопатки. Иной раз и вправду повезет — земля и сыпучая, и податливая, — и ты в считанные минуты выроешь под собой какое-никакое углубление, сладишь брустверок, чтоб укрыть за ним голову; но в другой раз не земля — кремень. И тогда уж держись солдатик-пехотинец, напрягай все свои силы, умение и сноровку до соленого пота на гимнастерке и шинельке, до кровавых мозолей на ладонях, вгрызайся в эту каменную землю и лопатой, и ногтями, и хоть зубами ее кусай — иначе гибель тебе неминуема. Вот это работа так работа! Никита Иванович все это на себе испытал — знает.

Первые полтора года (с перерывами, понятно, на лежание в госпиталях по ранению и увечью) ему довелось воевать в пехоте, красноармейцем-стрелком, а потом, когда осколком повредило правый, прицельный глаз, попал он в саперы, но не в те, которые ставят мины, а в те, которые наводят переправы, мосты и гати. Там работа, считай, главное солдатское предназначение, хотя и за винтовку приходилось братья частенько, и самих себя защищая, и выступая в трудные минуты в подмогу строевым частям.

Саперам-плотникам доставалось на войне ничуть не меньше, чем пехотинцам. Все время в воде и болоте, когда по колени и пояс, а когда и выше — по грудь и шею. Летом оно еще ничего — терпимо, а вот в сыкотную осень или зимой, в мороз и стужу... Пока наведешь мосточек-паром для тяжелой техники через вроде бы и не больно широкую какую-нибудь речушку, весь обледенеешь, перемерзнешь до самых костей, не раз даже подумаешь, уж лучше бы в бой, под огонь и пули. Но — не велено. Задача твоя — быть здесь, при мосточке и гати, и чуть вражеским снарядам или бомбой порушит их, сразу кидаться в воду, класть новые бревна, лозовые плети и любой иной подручный материал — ведь на том берегу товарищи твои, фронтовые побратимы, захватили малюсенький плацдармик, держат его из последних сил, гибнут и погибают от превосходящего числом противника — и вся надежда у них на подмогу, на огнестрельную технику: пушки, танки, самоходки, они же застряли из-за пробоины в бревенчатом настиле-пароме. И в эти минуты главный, основной человек на фронте — сапер. Безоглядно бросается он в воду, под пули, снаряды и бомбы, лишь бы подсобить своим товарищам на том, вражеском еще берегу, выручить и спасти их от верной гибели на крошечном пятачке-плацдарме.

Сколько лет прошло с той поры, а все стоит перед глазами Никиты Ивановича воочью, будто ребята захватили роковой тот плацдармик вон там, на берегу его родной реки, и Никите Ивановичу надо поскорее бежать туда, на ходу думать-соображать, где обзавестись бревнами и досками, может, раскатать чей сарай или клуню (да свою же и раскатать — она ближе других к обрывистому берегу, где и виднеется порушенный мост-переправа).

Но какое там бежать и раскатывать? Лишний раз рукой пошевелить, вздохнуть в полную грудь сил у Никиты Ивановича теперь нету. Хорошо, только-посошок помогает, а то и вовсе упал бы на траву-мураву. Одно только Никите Ивановичу нынче и остается, что предаваться видениям. Сдержат он себя не может — и предается. И опять же, об одном и том же — о работе.

И о довоенной, когда трудился, совершал все под доглядом и повеле-

внем отца с матерью, и военной, фронтовой, и уже послевоенной, когда сам встал во главе семьи, растил вместе с Дарьей Михайловной, приучал к крестьянской работе вначале детей, а потом и внуков.

В забытье своем и мечтаниях Никита Иванович вознамерился было переменить на посошке-кривульке руки, а то что-то онемели они и пошли мурашками, но вдруг, откуда ни возьмись, налетел из-за реки суший ураган-ветер, столбом и смерчем поднял на улице пыль и со всего разгона и размаха так ударил в незапертую на щеколду калитку, что она взвизгнула в петлях и навесах и едва не расшибилась о ворота.

«Э, нет, — строго подумал и даже произнес вслух Никита Иванович, — дело у нас так не пойдет». Приладившись и опершись на палочку-кривульку сколько было и оставалось в нем силы и мощи, Никита Иванович поднялся и мелким стариковским шагом пошел к калитке. Но закрыть ее с улицы ему не удалось. Дубовую щеколду на сыромятном ремешке, которую Никита Иванович сам же и смастерил лет тридцать тому назад, ударом ветра напрочь заклинило, и как он ни дергал за этот ремешок, она не поддавалась и в пробой не падала. Пришлось Никите Ивановичу войти во двор и уже оттуда разглядеть, что там случилось за поломка, что за увечье? Оказалось — ничего страшного и нет: просто от удара щеколда перекосилась, и в зазор между перекладинкой и железной скобочкой-шейкой попала сорная щепочка. Она и удерживала щеколду. Никита Иванович вытащил щепочку, подергал для проверки за ремешок — и все наладилось: перекладинка падала в пробой легко и необременительно, и запирала калитку крепче крепкого.

Наладив щеколду, Никита Иванович собрался опять вернуться назад на лавочку и опять засесть там надолго — других забот у него больше нету. Вот разве что блинчик съесть, чтоб вечером Наташа его не ругала и не корила.

Но вдруг Никита Иванович заметил, что и на повети, где у них еще с отцовских времен была столярная мастерская, дверь от порыва ветра тоже хлопает и тревожится в косяках. Ее надо было бы примкнуть на замочек или хотя бы на колышек и подпереть каким-либо чурбачком-колодочкой.

Опираясь одной рукой на палочку, а другой придерживаясь для устойчивости за стенку дома и за обшивку веранды, Никита Иванович всего с двумя краткими перерывами добрал до повети, нашел и колышек, и чурбачок, и приготовился уже дверь надежно защемить и подпереть, но в последнее мгновение не выдержал и заглянул внутрь помещения.

На него сразу дохнуло запахом хорошо просушенной доски, древесной стружки: смолисто-острой — сосновой и чуть с горчинкой — осиновою и ольховой, запахом столярного клея в водяной бане и еще много какими иными запахами, ведомыми только подлинному столяру (например, запахом ручного коловоротного точила, изобретенного из мелкозернистого камня-песковика; с этим запахом никак не мог сравниться и перебить его запах точила электрического, непрерывно вращающегося и искрометного).

В углу, вдоль стены и окна, основательно и прочно стоял тяжеловесный дубовый верстак, не отцовский даже, а еще дедовский — вот сколько ему времени, считай, полтора века.

Деда своего, Никиту Романовича, в честь которого и наречен-назван, Никита Иванович не помнит. Дед воевал вначале японскую войну, а потом и Первую мировую. На ней он и погиб где-то в Галиции за пять лет до рождения Никиты Ивановича. Вообще, у них в роду все мужчины —



солдаты и работники. По наследству это им передавалось, по крови из поколения в поколение. Дед Никиты Ивановича на войне воевал и погиб на ней. Отец — тоже воевал, и тоже погиб, пропал без вести. Никита Иванович с братьями, Степаном и Ваней, в подмогу отцу-родителю встали. Степан с Ваней погибли, а Никиту Ивановича Бог сохранил, уберег, хотя, может быть, это и не совсем справедливо: Степан с Ваней в большие бы люди выбились, они к учебе, к книгам-учебникам с самого малолетнего возраста тянулись, о рабфаках и институтах мечтали.

Дети и внуки Никиты Ивановича в свое время и в свою очередь от солдатской, ратной службы, опять же, не уклонились, прошли ее честь по чести. Василий четыре года в морях был на Северном подводном флоте, подо льдами Арктики ходил — во какой герой, краснофлотец. Войны ему, к счастью, не досталось, а вот младшему, Ивану, и внуку Сергею, тем досталось с избытком. Иван в Афганистане сражался, ранен там был и контужен, а Сергей-Сережа — в Чечне в военно-воздушных войсках, в десанниках. И ранение у него есть нешуточное, и награда — посеребренный крест. Василий с Наташей, может, потому и опекают Сергея больше других, младших детей, чувят — парню от войны этой кавказской отойти надо и душой, и телом. Душой, поди, что и больше. Никита Иванович это по себе знает, по своим фронтовым испытаниям, победам и поражениям.

Нет, все ж таки, что ни говори, а Русская земля с покоя веку на крестьянских мужиках держалась. Из них и работники ее всегда происходили, хлебопашцы и кормильцы, и верные защитники-оборонители от коварных врагов, которых у нее в любые времена находилось немало. По крайней мере, Никита Иванович так думает и размышляет.

Вдоволь надышавшись хмельными столярными запахами, Никита Иванович сразу из повети не вышел, а присел на табурет, чтоб набраться сил и крепости для обратного путешествия к лавочке, единственному теперь уже и последнему своему посту-караулу. Но вдруг он заметил в простеночке между верстаком и бревенчатым срубом сарая, к которому повесть и примыкала, оконную, только, кажись, вчера и связанную Василием раму. Никита Иванович слышал, как он там шоркает рубанком, стучит молотком и киянкой, но подойти, осведомиться, что там и к чему, не нужен ли какой совет, подсказка, сил не хватило. Да и что толку подходить: в советах и подсказках Василий не нуждается — он столяр теперь половчей и поспорившей отца, а подсобить делом у Никиты Ивановича мощи опять-таки нету.

Рама эта предназначалась для веранды. Еще по весне Василий надумал обновить-поменять на веранде из-под ветреной, затянутой густым плющом стороны две старые заметно подгнившие рамы (оттого и прогнили, что всегда в тени находятся, в сырости), которые, дай Бог памяти, наверное, полвека тому назад сладил Никита Иванович при посильной помощи Василия, тогда еще подростка и подмастерья. Но ни весной, ни летом у Василия до рам руки так и не дошли: то пахота-посевная, то сенокос, то уборка, к тому же и доска была сыроватая, сохла, проветривалась на вышках. А теперь Василий в преддверии осени и скорых дождей улучил все-таки минуточку, отбросил день-другой — и раму связал.

Никита Иванович не выдержал и мелким, нетвердым шагом подошел к ней, взял в руки и, испытывая на прочность, пару раз повел-пошатнул из стороны в сторону. Рама, как говорят столяры, нигде и не ойкнула — столь плотно она была связана в шипах. Молодец Василий — порадовал-

виза за сына Никита Иванович — рама эта простоит целый век, и ничто ей не страшно: ни ветры-суховеи, ни сырость, ни морозы.

Но потом он и вдругорядь не сдержался, повернул раму на ребро и прицельно глянул по плоскости с угла на угол — нет ли где перекоса и уклона. Их не было ни на миллиметр, ни на полмиллиметра — вот какой из Василия вышел мастер. Столяры промеж собой, когда оценивают только что сделанную вещь: оконную ли раму, дверь (наборную или филенчатую), резные наличники и ставни, любят сказать с подначкой: «Для себя годится, а на продажу — нет!». Рама же, связанная Василием, годилась и для себя, и на продажу. Тут других слов и быть не может.

Никита Иванович аккуратно поставил раму на место, чтоб Василий не заметил никакого нарушения, не догадался, что в поветь наведывался проверяльщик и контролер (его самого теперь на каждом шагу проверять надо). Делать в повети Никите Ивановичу было вроде бы больше нечего, и он, передохнув еще разочек перед дальней дорогой к лавочке на табу-рете, нацелился к выходу. Но совсем уж нечаянно увидел в уголке за ко-ловоротным точилом распущенные Василием на циркулярке заготовки для второй рамы. Никита Иванович приподнял одну, просто так, ради стариковского интереса, чтоб глянуть-поглядеть, да еще ради того, чтоб вдохнуть на свежем пропиле запах смолы-живицы. Поглядел, вдохнул и хотел уже было возвернуть на место, но потом, сам не зная, как это у него получилось (наверное, привычка: глаза боятся, а руки делают), положил заготовку на верстак, крепко-накрепко закрепил винтом и потянулся к полочке за шерхебелем-шершепкою.

У Василия в мастерской по новым, ученым временам было, конечно, в большом недостатке и выборе множество всякого электрического саморезу-щего инструмента: циркулярка, электрорубанок, электрическая дрель, махонькая шипорежущая машинка (эту Василий сам изобрел), был даже токарный станочек по дереву и металлу. Но Никита Иванович, признаться по правде, машин опасался, не знал, как включать-выключать, как пользоваться ими, поэтому и сейчас он, опять же по долголетней привычке, взял с полочки не электрорубанок, а старинную шершепку с удобной для захвата ручкой. Там же, на полочке Никита Иванович обнаружил рабочие очки Василия (без очков тот с недавних пор тоже не обходится) для лучшего удержания связанные за дужечки резинкой-шнурочком. Никита Иванович приладил их на переносицу, глянул туда-сюда и по-мальчишески обрадовался — очки были ему как раз впору, всякий предмет сквозь них виделся отчетливо и ясно и в своем истинном размере.

При таком вооружении от Никиты Ивановича не укрылось, что шершепкой Василий давненько не овладевал (чего ею овладевать, когда электрический рубанок под рукой?!): полукруглое лезвие, хотя и было остро заточенным, но в нескольких местах покрылось коричневатым налетом, предвестником ржавчины. В работе, после двух-трех взмахов налет этот, понятное дело, сойдет, сотрется сам собой, но Никите Ивановичу вдруг страсть как захотелось подновить-поправить лезвие на точиле, а потом еще и довести вручную на оселке-брусочке. Захотелось так, что прямо-таки сердце зашлось...

Никита Иванович не стал себя сдерживать, утишать, а привычно (будто занимался этим и вчера, и позавчера, и каждый день) принялся за дело. Киянкой он легонечко, с пристуком и потягом тронул несколько раз по пятке шершепки: клинышек мгновение помедлил, а потом качнулся, расслабился и пошел вверх. Никита Иванович подхватил его в руки, слов-

но какую увертливую щучку, и положил на верстак. Лезвие старинной, отменно закаленной стали он вынул еще с большим бережением (не дай Бог, обронится и неисправимо повредится о какую-нибудь железку или камень — после Василий будет очень недоволен), еще раз внимательно обследовал, потрогал кончиком ногтя и принял повторное неотменяемое решение — все-таки лезвие надо подточить, чтоб после в работе оно шло по дереву (хоть за волокном, хоть против), как по маслу.

Электрическое точило, в котором тоненький, всего в полтора пальца, фиолетового какого-то цвета точильный камень был забран в металлический кожух-щиток, стояло, считай, под рукой у Никиты Ивановича, на стеллаже возле окошка. Но он решительно пренебрег им: не приучен Никита Иванович к неостановимым электрическим скоростям, когда даже круга не видно, а одно только фиолетовое мелькание — поднеси лезвие, и сразу так взжикнет, такие искры посыплются, что всю заточку перекосит и сведет на нет.

Придерживаясь за верстак, Никита Иванович подошел к родному своему коловоротному точилу, где все понятно, обдуманно и выверено годами, где работа не требует никакой спешки и опасения. Устроено коловоротное точило действительно по уму: под камнем-песковиком расположено неглубокое дубовое корытце, в которое заливается вода. Когда камень начинает вращаться, то он сам по себе окунается в эту воду, смягчает трение и не дает лезвию пригореть. А на электрическом, того и гляди, вмиг посинеет и пойдет такой окалиной, что напрочь загубит инструмент-шершепку.

Воды в корытце, понятное дело, не было. Василий коловоротом пользовался редко, разве только в том случае, когда свет вдруг возьмут да отключат, а Василию край как надо подправить стамеску или топор.

Идти в дом за водой Никите Ивановичу, правда, не понадобилось. Она повседневно стояла у Василия в мастерской-повети в эмалированном ведреке близ порога, надежно прикрытая увесистой крышкой. Василий — человек запасливый и расчетливый. В мастерской у него, будто в горнице, всегда чисто и аккуратно, все всегда под рукой, все на своем месте. Никита Иванович с детства его к этому приучал. Взять ту же воду. Захочется тебе во время жаркой работы попить или в точильное корытце подлить кружку-другую, или просто лицо-руки ополоснуть, так не надо за каждым разом в дом бегать, отрываться от дела, которое кипит в самом разгаре.

Воду для ускорения Никите Ивановичу, конечно, можно было бы налить прямо из ведра, но оно оказалось наполненным всклень, под самый венчик. Никита Иванович попробовал его стронуть, но сразу почувствовал, что не осилит, а если и осилит, то расплескает добрую половину — от Василия ему за это опять-таки будет укор. Смирив гордыню, Никита Иванович стал носить воду к корытцу латунно-медной литровой емкости кружкой. Вскоре после войны он сам же и смастерил ее из артиллерийского снаряда (тогда такие кружки в каждом доме были), изнутри хорошенько залудил, а снаружи для красоты выцарапал-нарисовал острым керном-пробойником мирный домик. Он и сейчас на ней еще виден. Не домик, а прямо-таки дворец с четырьмя окнами, трубой и дымом-колечком над ней.

Долгие годы латунная эта кружка стояла у них на кухоньке впритык к двум ведрам (одному деревянному — цеберку, а другому, редкому и дорогостоящему по тем временам — оцинкованному) и служила главным

питьевым ковшиком. Но потом, когда появились и новые, эмалированные ведра, и новые, на любой размер и на любой вкус кружки, снарядное полуфронтное изделие перекочевало в повесть-мастерскую и вот незаметно служит здесь до сих пор. Дарья Михайловна и Наташа всегда следили за кружкой (теперь, понятное дело, следит одна Наташа), чистили тертым кирпичом и мелом, и она, будто только что изготовленная, самоварно сияла, притягивая к себе сквозь окошко яркие солнечные лучи, а домик на ней проявлялся живее живого, хоть сейчас заходи в него и живи в свое удовольствие всем семейством.

На коловоротном точиле, конечно, лучше бы работать вдвоем, чтоб кто-то один крутил ручку, а другой управлялся с лезвием шершепки-рубанка, с топором или долотом и стамеской. В детстве Никита Иванович и приучался к столярному мастерству именно таким вот образом и манером: он крутит ручку, а отец затачивает подзатупившийся в работе инструмент. Точно так же потом привыкал, набирался столярного и плотницкого умения и Василий, хотя и совсем мал еще был. Никите Ивановичу приходилось подставлять ему под ноги для возвышения какой-нибудь ящичек или колодочку, чтоб Василий мог дотянуться до ручки.

Но когда помощника-подмастерья нет, то можно помалу справиться с точилом и в одиночку. Не стоить, правда, сподручно, но можно. Тем более в таком случае, как нынче у Никиты Ивановича, когда лезвие надо лишь чуть-чуть тронуть, снять с него ржавый налет да на кончике маленький заусенец, который остался от прежней заточки.

Никита Иванович и начал управляться. Одной рукой крутил коловорот, а другой, выбрав точный угол, прилаживал к камню лезвие. Необходимого дыхания и крепости в груди для полного разгона точила у него, к немалой обиде и досаде, уже не хватало, но и на остаточном своем дыхании он лезвие все же такти подправил, да так, что после и на оселке его не потребовалось доводить. Рука у Никиты Ивановича хоть и слабая и безвольная, но по-прежнему еще верная.

Несколько минут он любовался лезвием, опять трогал его и кончиком пальца, и ногтем — и работой своей остался доволен.

Дав себе совсем малое время на передышку, Никита Иванович принялся собирать шершепку в обратном порядке. Придерживая лезвие пальцем в летке, он выпустил его поверх подошвы всего на тонюсенькую ниточку, потом приладил клинышек-щучку и легонько-точным ударом киянки заклинил. Получилось и в обратном порядке все как нельзя лучше: лезвие нигде не перекошилось и не сдвинулось с определенного ему места.

Теперь предстояло испробовать обновленный инструмент в деле. Признаться по правде, Никита Иванович даже забоялся всей своей затеи. Разобрать-собрать, заточить шершепку силы у него хватило, а вот хватит ли ее хотя бы для одного-двух замахов — это еще неизвестно. Но и отступать было вроде бы поздно, да и охота (ох, как охота!) снять золотисто-тонкую стружку вначале с краешку, а потом и в прогон по всей заготовке.

Никита Иванович опять дал себе минуту отдыха, попил из ведерка воды, посидел даже на табурете возле верстака, поудобней приспосабливая на переносице очки, а на затылке резиночку-шнурочек. Наконец поднялся во весь рост, укрепился ногами на полу, прижался для верности коленом и бедром к верстаку (а то вдруг поведет, завалит на сторону) и с великой осторожностью и бережением, будто первый раз в жизни, тронул шершепкою заготовку. И осилил, угадал, уловил на вдохе-выдохе привыч-

ное это движение: стружка пошла из летки с лицевой стороны темная и шершавая, а с тыльной — желто-горячая и атласно-чистая, пошла и завернулась в упругое колечко, как и полагается ей заворачиваться под рукой хорошего мастера.

Никита Иванович обрадовался этой удаче, сделал маленький шаг вперед, осмелел и пошел вдруг взмахивать шершепкою безоглядно на дыхание, которое клокотало и билось у него в груди, словно какая поймавшая в силки птица.

В запале он даже не заметил, как острогал и одну, и другую, и все четыре стороны заготовки, едва успевая поворачивать ее да понадежней закреплять винтом. Опомнился Никита Иванович лишь после того, как брус-заготовка заиграла на солнце гладко-восковым в смоляных янтарных прожилках гранями. Понятное дело, что ее придется еще поправить рубанком и отфуговать до точных размеров фуганком, отобрать «четверть», отливы, зарезать шипы, совершить и еще много всяких столярных премудростей. Но это все потом, позже, а сейчас, коль уж разохотился, и шершепка прямо-таки горит-полыхает в руках, надо браться за остальные заготовки. До рубанка-фуганка и «четверти» очередь дойдет или нет — еще неизвестно (вдруг птица-клокотание в груди так забьется, что враз все бросишь и победешь к лавочке-посиделке), а вот шершепкой первородно очистить все шесть заготовок, кажись, и можно. Василию будет в том какая-никакая помощь.

Никита Иванович поставил остроганную заготовку рядом с рамою, взял очередную, темную и занозистую, оглядел ее со всех сторон (куда, в каком направлении идут волокна, где гайтятся, скрывается малый неопасный сучок, а где большой, с которым надо разговаривать на «Вы», чтоб он от чрезмерного взмаха-потяга не отслоился и не выскочил из основы, образовав досадное углубление-выемку), закрепил по всем правилам на верстаке и, заметно осмелев, пошел махать шершепкою в свое удовольствие и отраду. И ничего — все сладилось: птица-клокотание в груди было затревожилась, явно намереваясь остановить Никиту Ивановича, но потом утишилась малым робким галчонком, да и уснула.

Никита Иванович совсем прибодрился и всего за час-полтора спорил все шесть заготовок, прислонил их одну к другой возле рамы и, отойдя шага на два в сторону, долго любовался их первозданным, с золотинкой, видом.

Тут самое время было бы выбраться из повети и перекурить на порожке, как это Никита Иванович делал всегда в прежние свои рабочие годы. Но, во-первых, он давно уже не курит (грудь не позволяет), а во-вторых, чего же время зря терять: вот попьет он из кружки-снаряда водички и возьмется за рубанок. Раз уж Никита Иванович справился с шершепкою, с первым, самым трудным в столярном ремесле делом, то с рубанком, даст Бог, справится и подалее: тут не столько сила нужна, сколько умение — подравнять глубинки, оставшиеся от шершепки, прогнать стружечку всего в толщину папиросной бумажки.

И столярная сокровенная работа у Никиты Ивановича закипела поновому. Признаться, он даже не ожидал от себя, старого, немощного, такой прыти. Рубанок сущим голубем-сизарем порхал у него в руках, ворковал и постанывал от удовольствия.

Когда же все шесть заготовок были рубанком подправлены и придиричиво осмотрены со всех сторон (не затаилась ли где мелкая шероховатость, бугорок или скос?), Никита Иванович потянулся за фуганком. Теперь,

чего уж, надо доводить дело до конца, чтоб после к заготовкам больше столярными строгательными инструментами не прикасаться.

Фуганков у Василия два. Один деревянный, старинный, сработанный отцом Никиты Ивановича из неодолимо крепкого березового бруса. Ручка у него ухватистая, резная, в пятку и в передок вставлены два колышка-бочоночка размером в добрый пятак, чтоб при сборке-разборке фуганка ударять киянкою непременно по ним, а не по живому корпусу (от таких ударов, да еще, если по нерадению и спешке не киянкою, а железным молотком, он пойдет трещинами, лопнет — инструмент будет напроць и навсегда загублен). Лезвие в старом фуганке, само собой разумеется, с «горбати́ком», и стружка из-под него выходит не только тоньше папиросной бумаги, но даже тоньше лебяжьего пухового перышка.

Другой фуганок — современный, металлический. В нем тоже все по уму сделано, тут придира́ться нечего: и ручки устойчивые (в металлическом фуганке их две: для правой руки и для левой), и лезвие с «горбати́ком», которое, правда, закрепляется не клинышком, а винтом, и подошва отполирована до зеркального блеска. Хороший инструмент, Никита Иванович против него ничего не имеет.

И все-таки он больше любит старый, отцовский фуганок. Как-то он привычней и роднее, что ли. Да и руку чрезмерно не тяжелит — дерево как-никак, материал живой, изначальный.

Никита Иванович и взял с полочки деревянный отцовский фуганок, глянул на лезвие: точить — не точить? И затаенно обрадовался. Судя по всему, Василий этим фуганком пользовался частенько, неведомо почему тоже предпочитая его новомодному — железному. Может, все из-за того же лезвия, которое долго и надежно держит заточку, а может, по привычке — с детства ведь еще приучен к нему.

Работать таким инструментом, как этот фуганок, орел и сокол, одно наслаждение. Тут со смертного одра встанешь, лишь бы с широкого размаха пройти им по доске или брусу, посмотреть, как они после заполируются, будто покрытые тончайшим слоем медоносного воска.

Во всю ширь плеча размахнувшись один раз, Никита Иванович, считай, играючись, отфуговал все заготовки точно в размер, тут уж никакой контролер-проверяльщик не придерется. Лоб у него, конечно, маленько покрылся потом, рубаха взмокла, но это не беда, наоборот даже великая радость. Во-первых, какая же мастеровая да и вообще любая крестьянская работа-стремление бывает без пота и усталости? А во-вторых, коль изощелся Никита Иванович потом, то, стало быть, еще жив, еще окончательно не помер от своего ежедневного пустопорожнего сидения на лавочке под забором...

Отливаясь на солнце восковыми боковинками, заготовки-брусья опять встали рядком возле рамы, словно шесть подружек-невест на выданье. Никите Ивановичу, наверное, на том и пора было завершить столярное свое увлечение. Отвел душу — и хорошо, и хватит. Да оно, может, что и не по замыслу Василия сделал, так после будет ему от сына за то упрек, скажет — испортил материал, сидел бы уж лучше на лавочке. Но до того вдруг Никите Ивановичу захотелось отобрать на заготовках «четверть» (ну, хотя бы на одной-другой), что хоть криком кричи, руки вот аж дрожат, просятся к отборнику, а про душу и вовсе говорить не приходится — она вся в томлении и страсти.

И Никита Иванович, стерев со лба горячий трудовой пот, не стал сдерживать ни тело, ни душу. Взял легонько-невесомый отборник и, видел бы

кто, как он справился с ним, как старательно и удачно отобрал на заготовках «четверти», куда потом, когда рамы будут собраны и подогнаны на своем месте, на веранде в косяках, Василий вставит стекла-«двойку» или «тройку», то есть, в два или три миллиметра толщиной — это уж как ему вздумается и захочется.

Вообще-то у Василия для отбора «четвертей» есть фреза, удивительно быстрый и увертливый инструмент. Им сработать «четверти» ничего не стоит — всего и делов-то минут на двадцать, не больше. Но Никита Иванович пользоваться фрезой не умеет, страшится и стрекочущего ее вращения, от которого мелкие щепки разлетаются по всей мастерской, и надсадного гудения мотора, от которого уши закладывает, словно они ватой забиты. Для молодых мастеров, привлеченных к столярному умению недавно, фреза, конечно, инструмент незаменимый — быстро и безошибочно работает, а для таких, как Никита Иванович, старых и медлительных, сподручней все же обыкновенный: отборник. Стружка из-под него идет иной раз цельная, во всю длину доски, сворачивается спиралью и кружочком и пахнет одним только деревом, без примеси железа и машинного масла. Ее хоть на новогоднюю елку вешай.

После отбора «четвертей» в будущей раме положено сделать отливы, чтоб она была похожа именно на раму, а не на какой-нибудь короб, который непонятно, зачем и для чего сделан. Но отливы надо скашивать под отметку и черту, обозначая их либо карандашом, либо отбивая плотницким, обильно натертым мелом, шнуром. Никита Иванович решил сделать разметку все ж таки под карандаш. Под шнур оно, понятно, быстрее, но есть опасение, что со слабыми своими стариковскими глазами (тут и очки не помогут) Никита Иванович не углядит черту и на одной заготовке не доберет до нужного размера полмиллиметра, а на другой, наоборот, захватит лишку, и после, когда начнешь вязать раму в шипы, продольный брус не состыкуется с поперечным, намучаешься, пока подгонишь.

В прежние годы при разметке любого столярного изделия: рамы, двери, кухонного шкафчика-стола или табурета Никита Иванович пользовался металлическим метром-складеньком. Но нынче эти метры не в чести и не в моде. На замену им пришли хитроумные ленточные рулетки. Вон и у Василия она висит на гвоздике, поддевая за шнурочек. Очень даже завлекательное и нужное изобретение. Потянешь на себя за ленточку, и она выдвинется на необходимую тебе длину, а надавишь на рычажок-кнопочку — ленточка тут же сама по себе и спрячется внутрь корпуса-коробочки, словно какая змейка в укромное гнездышко.

Никите Ивановичу это новшество, как только Василий завел его, сразу пришлось по душе. Он, помнится, едва ли не целый день забавлялся им, измерял, уподобясь малому ребенку, все подряд: подзаборную свою лавочку, калитку, ворота, ступеньки на крыльчке.

Но сегодня рулетка-змейка нужна ему не для баловства, а для самой серьезной дельной потребности. Никита Иванович мастерит, вяжет раму, и ленточка эта, рулетка для него незаменима.

Никита Иванович снял ее с гвоздика, вооружился карандашом и наметил отливы хорошо видимой даже ему, подслеповатому, прямолинейной (будто стрела пролетела) чертой. Рулетка службу свою сослужила верно, не допустив и самой ничтожной погрешности.

Для ускорения дела отливы можно отобрать поначалу малым столярным топориком. Но Никита Иванович и в прежние годы на него никогда не зарился. Тюкнешь по неосторожности топориком чуть посильней и,

глядящий, вдоль всего бруса, на который уже затрачено столько труда и силы, побежит предательская трещина — и досадуй тогда не досадуй, а надо будет брус заменять.

Нынче же на топорик Никита Иванович даже не поглядел: тяжело-ват он для нетвердой его руки, да и куда торопиться, поспешать: день летний, как год, можно все сделать с должным вниманием и осторожностью, чтоб после не корить себя, мол, поленился, словчил, вот теперь и получай — брус расщеплен почти надвое. Не зря говорится: поспешишь — людей насмешишь, а сам наплачешься.

Чтоб подобного происшествия не случилось, Никита Иванович отобрал-скопил отливки инструментом поделikatней топорика: вначале шершепкою, потом рубанком, а потом прогнал еще и под фуганок, и работой своей опять остался доволен — за черту, за метку он нигде не перешагнул, не нарушил их, все получилось в точный, надлежащий размер.

Теперь Никите Ивановичу предстояло сделать главное — запилить шипы. Все предыдущие старания были в общем-то подготовительными, с ними мог справиться и подмастерье, а настоящий столярный мастер как раз и проверяется на шипах, как он их запилит, как подгонит, не получится ли все сикось-накось, шатко и не впритирку — свяжешь раму, а она выйдет у тебя на манер пропеллера.

Весь в сомнениях и тревоге — браться за шипы или не браться — Никита Иванович долго сидел на табурете, пил, остужая разгоряченное тело, воду, ревниво смотрел на изобретение Василия — шипорезную машинку с малюсеньким циркулярным диском — и никак не мог принять нужного решения, чего раньше с ним никогда не бывало. И в молодые свои, и в зрелые уже годы он в любом деле на решения был скор и отважен, долго раздумывать не любил, подмастерьем еще переняв от отца вразумительные поучение: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж!» или «Глаза боятся, а руки делают!».

Но то было в детские, молодые и зрелые годы Никиты Ивановича, а нынче, какие они у него — стариковские, преклонные, нынче у него и глаза боятся, и руки не делают, дрожат вон даже мелкой сомнительной дрожью.

И все-таки Никита Иванович решился. В едином порыве преодолел все свои страхи и опасения. Если он сейчас заробеет и бросит начатое дело на полдороге, так после жизни ему не будет от этого отступничества. А руки у Никиты Ивановича дрожат вовсе и не от сомнения, а оттого, что рвутся и просятся к работе, как они всю жизнь рвались и просились у него к ней.

Страхнув с себя дрему и забытье, в которые впал по малодушию своему, Никита Иванович поднялся и возвысился во весь рост над верстаком — полноправный работник и мастер. Поперечные метки под шипы на заготовках он начертил карандашом, пользуясь рулеткой-змейкой и угольником, а продольные рейсмусом — инструментом специально для этого и придуманным в незапамятные еще времена изобретательными столярами-умельцами. Заклинишь по нужному размеру реечку с остро заточенным гвоздиком на кончике, и пошел выводить черту за чертой. Гвоздик от твердого твоего нажима глубоко проникает, проваливается в древесину и ведет черту по продольному волокну безошибочно. В столярном мастерстве рейсмус — инструмент незаменимый, и Никита Иванович всегда содержал его в образцовом порядке. Теперь вот содержит Василий, хорошо зная, что, чем точнее сделаешь разметку, тем точнее



и надежной после получения шип, а значит, и вся рама будет без малейшего перекаса.

На разметку Никита Иванович затратил полчаса, не больше. Это дело хоть и ответственное, но легонькое и даже отдохновенное. Его можно делать, покуривая, посвистывая, а то и забавляя себя каким-нибудь веселым песнопением.

Никита Иванович, правда, ни на что не отвлекался: ни на покуривания, ни на посвистывания, ни на песнопения, к которым в молодые годы был даже очень охоч, а превратился весь во внимание и бдительность. Давненько он все-таки за рейсмус не брался, и было опасение, что рука где-нибудь дрогнет, отчего бороздка-черта вильнет в сторону. Но вроде бы и тут у Никиты Ивановича все сладилось: продольные и торцевые черточки всюду сошлись, связались в единую неразрывную линию.

Теперь очередь за пилой. Никита Иванович всегда запиливал шипы продольной лучковой пилой с мелкозернистым зубом. Инструмент тоже испытанный и надежный. Подтянешь тетиву, и пила, действительно, будто лук-самострел, аж звенит в руках. Когда работаешь шип, то черта должна оставаться с внутренней стороны пилы, а когда гнездо-проушину — с внешней. Допуски эти необходимые для подгонки, они сгладятся, уберутся, где стамесочкой, а где рашпилем. Главное, не перепутать будущий шип с гнездом, чтоб после не кусать себе локти, если вдруг окажется, что связка твоя никуда не годится, болтается и ходуном ходит, как старое колесо на старой телеге. Уж лучше загодя пометить карандашиком: гнездо обязано быть на большой продольной заготовке, а шип — на малой, поперечной.

Никита Иванович так и сделал — пометил, хотя раньше, при твердой памяти, ни разу не ошибался. Но нынче меточка не помешает: память у него хуже девичьей: положит какую-нибудь вещь вроде бы в определенное, выверенное место, а через день-другой кинется и, хоть убей, не помнит, где она, как в воду канула. Старость — что там и говорить.

Первый шип Никита Иванович работал с особым пристрастием: закреплял и перезакреплял на верстаке заготовку-брус, подтягивал и переподтягивал тетивой полотно пилы, сто раз проверял и перепроверял черту. Поглядеть со стороны, так хуже нерадивого подмастерья. Никита Иванович вполне с этим согласен. Но ведь и то сказать, в последний раз он вязал раму лет пятнадцать тому назад — как не осторожничать, как не волноваться-тревожиться?

Но на втором шипе дело у него пошло веселей. Рука сама по себе, без малейшего, казалось бы, усилия Никиты Ивановича вспоминала все необходимые, вовсе и не забытые им движения и навыки. Пила в ней прямо-таки пела и выпевала, звенела и вызванивала медными и серебряными колокольчиками, как в давние молодые и возмужалые годы Никиты Ивановича. Он только успевал вытирать пот со лба.

Ну, а дальше все сладилось, сработалось совсем уж по наитию. Подогнал Никита Иванович шипы и гнезда-проушины стамеской, рашпилем и запасовочной пилой, прорубил опять же малой, десятиммиллиметровой стамесочкой не гнездо даже, а гнездышко для внутренних, срединных поперечин и — вот он, самый торжественный момент в жизни любого столяра-мастера: связывай, соедини шипы и гнезда воедино, гляди и радуйся, считай, уже готовому изделию.

Вообще-то Василий хотел поставить на веранде рамы наборные, с множеством мелких ажурных окошек в полукруг. Когда посмотришь на

эти окошка-оконца, вытянувшиеся от подоконника до верхнего косяка-лутки, словно по струнке, так волей-неволей почудится тебе в них журавлиный клин, летящий высоко в голубом небе. Какому мастеру не хочется сделать подобную красоту?! Но неожиданно-негаданно воспротивилась намерению Василия Наташа. Против журавлей и красоты она, конечно, не восставала (все рушники-утиранники, накидки и скатерти у нее и в журавлях, и в голубях-ласточках, и в цветах-травах), но вдруг сказала Василию со вздохом и тревогой: «Солнышка будет мало, плющ и так все загораживает!»

И Василий, согласился с ней. Ажурные эти, журавлиные, оконца действительно станут скрадывать солнышко, и на веранде навсегда поселятся тень и сумрак. А Наташа — она свет любит, сияние. Покойная Дарья Михайловна точно такой же была. Никита Иванович, когда они вон еще в какие годы, собравшись с недостатками, начали пристраивать к дому веранду, тоже вознамерился было окна-двери смастерить «с интересом», но Дарья Михайловна за солнышко даже порешительней Наташи заступилась, сказала Никите Ивановичу весело и не обидно: «Знаю я тебя, нагородишь клетушек, после ни солнца, ни простора на веранде не будет!» Никита Иванович уступил ей, хотя у него уже и чертежник был заготовлен под наборную раму. И не то, чтобы поостерегся он спорить с Дарьей Михайловной, а, поразмыслив над ее словами, согласился, что во всем Даша права: подлинная красота не в кружевных плетениях, а в простоте и просторе.

Все шипы и гнезда-проушины сошлись у Никиты Ивановича, словно влитые, в жесткую, неколебимую притирку, без перекосов и пропеллеров. Никита Иванович в последний раз прошелся по всем четырем углам и по внутренним связкам припасовочной пилой, простучал пропилы кияночкой, в последний раз промерял рулеткой раму вдоль и поперек, прикинул и по диагонали и даже сам себе удивился — все сошлось миллиметр в миллиметр. «Надо же!» — не смог сдержать он этого своего удивления и радости.

Но потом все-таки пригасил их. Предстояло еще скрепить раму по углам сквозными колышками. В старые годы, прижав угол к верстаку струбцинами, Никита Иванович проделывал отверстия под колышки самым обыкновенным буравчиком. Но как только Василий обзавелся скоростной дрелью с бесчисленным набором сверл по металлу и дереву, Никита Иванович по достоинству оценил это похोजее на боевой автомат изделие и выучился им владеть, хотя, честно говоря, с буравчиком ему расставаться было и жаль. Сколько дырочек просверлил он им за свою жизнь — не счесть, а теперь, выходит, как бы предаст старого своего, верно служившего ему товарища. Но больно уж медлителен буравчик: в дерево чуть войдет и начинает сразу поскрипывать, постанывать, словно жаловаться на свою судьбу, мол, старый не старый, а давай, трудись, изворачивайся до полного изнеможения. Никита Иванович и внял его жалобам, отстранил от работы, вроде как на заслуженный отдых отправил, на полную пенсию по выслуге лет. Прятать, правда, буравчик далеко не стал (вон он из столярного ящичка с мелким инструментом выглядывает): дрель, конечно, изобретение современное, любое отверстие минутою-секундою просверливает, но оно полностью зависит от электричества, а чуть его отключат — и все: встал хваленый твой быстролетный инструмент. И тогда уж хочешь, не хочешь, а вспомнишь про буравчик, поклонись ему поясно и потихоньку да помаленьку прямым и обратным

поворотами (чтоб от стружки освободить) и просверлишь нужную тебе дырочку.

Но сегодня свет был, и Никита Иванович, в одну минуту настроив дрель, прицельно начал сверлить отверстия. Любо-дорого смотреть на такую работу. Не успеешь приставить сверло к метке, нажать на рычажок-пружинку (опять же, чем не спусковой крючок на мосинской винтовке, на карабине или на автомате ППШ?), как сквозное отверстие уже готово. Бери теперь заранее заготовленный, нарубленный-наколотый топориком из зубачка-обрезка колышек и с необходимой осторожностью, чтоб не расколоть в поспешности и нетерпении продольный брус, загоняй его туда киянкой.

Никита Иванович, давая дрели передышку перед каждым очередным углом, оберегая ее от перегрева, забил все четыре колышка в меру туго и плотно — рука сама чувствовала, когда надо остановиться и не переусердствовать. Припасовочной пилкой он снял оставшиеся от колышек пенки, зачистил их для верности и красоты рубанком. Потом, ни на мгновение не прерываясь, точно так же зачистил на углах допуски: душа горела и стремилась к последнему этому нехитрому уже действию, к завершению работы.

И вот она — рама — готова по всем статьям и замыслам! Никита Иванович стряхнул с нее рукавом рубахи налипшие кое-где стружки и древесные опилки и торжественно поставил рядом с рамой Василия. И оказалось, что они ничем и не отличимы друг от друга: поменяй, переставь их местами, так и не поймешь, какая изготовлена Василием, а какая Никитой Ивановичем. Вот разве что на раме Василия темно-коричневый сучок размером с копейку-гривенник разместился на левом продольном бруске, а у Никиты Ивановича мелкой россыпью несколько штук (будто родинки или веснушки-ластовыня) на поперечном. Но это уж надо быть слишком приглядчивым, чтоб заметить подобную разницу. Пристроив табурет подальше к двери, Никита Иванович присел на нем, снял ненужные ему теперь очки и долго любовался обеими рамами, представлял, как они встанут на веранде в косяках и будут стоять там и вправду лет сто, не меньше, сияя всегда чисто вымытыми Наташей стеклами, беспрепятственно пропуская внутрь помещения так желанное ей солнышко.

Но еще больше радовался Никита Иванович тому, что все ж таки одолел все свои сомнения и страхи, взялся за столярные инструменты и связал, сладил раму. Оно, наверное, и раньше: и день, и два, и полгода, и год тому назад можно было взяться за них. Так нет же — приспособился сидеть на лавочке, словно кулик на болоте, стенать да жалобиться, что сил нету, здоровья нету. А сила и здоровье как раз в работе и заключены. Пока работаешь, они живут и прибавляются в тебе, а как только опустил руки, то напрочь уйдут и иссякнут.

Тело Никиты Ивановича от сладостной, признаться, уже и подзабытой усталости томилось и изнемогало, то в одном, то в другом месте подрагивало жилочками и суставами, давало о себе знать: мол, действительно живо еще, не умерло, полнится крепостью и напряжением.

И вдруг Никите Ивановичу захотелось есть! Так захотелось, что прямо-таки желудок подвело. Поставь перед ним сейчас миску борща, миску каши, да налей наркомовских сто граммов, так он сметет все единым махом и даже добавки попросит. Хороший работник должен быть и отменным едоком. Это любому-каждому известно. Не зря ведь говорится и пишется: «Ест за четверых, работает за семерых». Никита Иванович в

работчие свои годы еды доком был непереборчивым и основательным. Дарья Михайловна нарадоваться на него не могла: за столом только миски-тарелки успевала за ним убирать. А как обленился и засел куликом-вороном на подзаборной лавочке, так все желание и потребность у Никиты Ивановича в еде отпали. За весь день бросит в рот какую корку-щепоть — тем и сыт, и доволен. Наташа корит его за это, увещевает: каждое утро в печи ни свет ни заря специально для Никиты Ивановича, как для малого дитяти, что-нибудь особое, отдельное приготовит. Никите Ивановичу и вправду совестно перед ней, и неудобно, но через силу ничего есть не станешь.

А сегодня, вишь, как все наладилось. И борщ ему подавай, и кашу, и сто граммов с походом налей. Вот что значит работа и работник!

В печи у Наташи всего, конечно, наготовлено, наварено и нажарено, стоит сейчас, упревает. Никита Иванович запросто даже может устроить в любой момент себе пир горой. Сто граммов у Василия тоже найдется, хотя он к этому и не особенно большой охотник. Но не время еще застолье-праздник устраивать — до обеда добрых три часа. Да оно если все по уму рассудить, застолье с выпивкой и переменной блюд лучше к вечеру, к угасанию дня организовать, когда попрохладней будет и повольней. А пока можно лишь перекусить (перекусить Никите Ивановичу очень даже не помешает) творожными блинчиками с молоком, которые стоят на лавочке и давно дожидаются его.

Никита Иванович поднялся с табурета и вознамерился было сходить за ними, чтоб в охотку и сласть подкрепиться в мастерской-повети при рабочем своем месте, еще раз и еще поглядывая на так удачно изготовленную раму, но вдруг осекся. В мастерской не прибрано, инструменты на законные свои места не возвращены. Так не годится! Никуда даже не годится! Покойный отец всегда научал Никиту (а после и Никита Иванович своих сыновей): после работы первейшее дело — убраться в мастерской, как в горнице, чтоб отходная вся стружка была вынесена, инструменты расставлены на полки, определены в ящики и ременные ячейки-патронташи, которые тянутся вдоль всей стены над верстаком, полы подметены метлой и веником.

Никита Иванович со всей старательностью и принялся за уборку. Прежде всего расставил, рассортировал инструменты, потом щеткой-опалхальцем из конского волоса стряхнул все стружки-опилки с верстака, стараясь не поднимать чрезмерной пыли. Березовая метла и домовый соевый веник стояли в углу возле двери. Там же притаился и ширококозаватный, долбленный когда-то Никитой Ивановичем из дерева липы специально для столярной мастерской совочек. В другом углу отыскалась двуручная ивовая корзина, тоже изготовленная нарочито, для мастерской, чтоб выносить в ней стружки и обрезки.

Никита Иванович вооружился всем этим инвентарем, таким привычным и обиходным, что в былые годы и внимания на него не обращалось. Попользовался и возвратил на прежнее место. А теперь, вишь, после стольких лет разлуки и обратилось, и так отраднo было взять Никите Ивановичу в руки и метлу, и веник, и отполированный до лакового блеска за долгие годы употребления совочек. А уж как отраднo было местиподметать полы, выуживать из самых потаенных мест стружку, куда та, словно скрываясь от Никиты Ивановича, позабилась, о том и говорить нечего. Уборка — это венец всякому делу, приготовление к празднику. А у Никиты Ивановича сегодня праздник из праздников — работа!

Стружек и оброек набралась полная корзина. Никита Иванович поначалу даже забоялся, осилит ли он ее, донесет ли за поветь и сарай, где под навесом хранились наколотые и сложенные высокими штабелями дрова. Но потом он поднатужился, сорвал корзину с места и пошел, пошагал в обнимку с ней (какой там вес в стружках и опилках — легче пушинки), опять радуясь, что и эта работа поддалась ему, осилилась, и что в дальнем для Никиты Ивановича путешествии обходится он без палочки-посошка.

Корзину Никита Иванович опрокинул в невысокую дощатую загородку, как раз и оборудованную для того, чтоб хранить в ней стружки, обрзки и всякий прочий отходный материал из столярной мастерской. Наташа использует его для растопки печи и лежанки. Лучшего материала-поджога и не придумаешь — занимается от единой спички.

Разровняв стружки равномерно по всей загородке, Никита Иванович для верности придавил их, прижал сверху дровяными полешками (вездесущие куры вмиг обнаружат новину и разгребут, растащат по всему двору) и налегке направился назад, чтоб теперь уж без промедления устроить себе предварительную легкую трапезу. Но возле водопойной бочки он на минуту попридержал шаг, заглянул в нее и немало удивился — бочка была, считай, напрочь пустая. Плескалось глубоко на доньшке всего ведра два-три замутненной воды — и весь потоп. Видно, вчера с вечера Василий и Наташа в спешке и суете подзабыли пополнить ее. Сегодня им тоже было не до воды: к Сергею и внукам в дальний город гостевать нацелились. Утром Зорянка утолила жажду перед выходом на пастбище из вчерашних запасов, а к возвращению ее обратно Василий и Наташа надеются быть уже дома — тогда и накачают насосом из колодца свежей ключевой воды.

Ну, а вдруг задержатся допоздна, загостуются, засидятся в застолье, с внуками заиграются?! Вон и насчет калитки они Никиту Ивановича не зря предупредили. И что же тогда получится?! Корова придет, устремится к водопойной бочке, а там всего мелкая лужица на самом дне, до которой Зорянка и не дотянется — рога не допустят.

Года три-четыре тому назад Никита Иванович и минуты бы не горевал по такой безделице: подхватил бы ведра да к колодцу, а нынче опасно ему загораться на такой подвиг и промысел: полновесное ведро воды не то, что ивовая корзина со стружками-опилками, осилит ли он по немощи своей его?

Сам не зная зачем, Никита Иванович колыхнул бочку рукой, поглядел еще раз в ее темную глубину и все-таки нашел себе утешение: Василий с Натасей хозяева рачительные — не может такого быть, чтоб они запамятовали про воду для Зорянки. Просто-напросто рассчитывают и надеются к вечеру обернуться. А насчет калитки они предупредили Никиту Ивановича на всякий случай, чтоб он зазря не переживал и не тревожился.

Поставив пустопорожнюю корзину в повети на место, Никита Иванович без перерыва и роздыху устремился через весь двор на улицу за тарелкой-миской с творожными блинчиками и кувшином с молоком. И так устремился, что даже позабыл захватить с собой опорный посошок. Опамятовался он только на полдороге, с удивлением остановился и заоглядывался по сторонам, бестолково завертел головой то на калитку, то на мастерскую-поветь, не ведая, как ему теперь поступить: то ли возвращаться назад за посошком, то ли уж путешествовать и дальше налегке, свои-

ми силами. Сомнения его развеял опять неожиданно-негаданно налетевший из-за огорода буранный какой-то ветер. Он так подтолкнул Никиту Ивановича в спину, между лопаток, что тот невольно сделал два-три шага по направлению к калитке, а потом уже и остановиться не мог. Да и чего было останавливаться, чего было сожалеть о посошке-кривульке, когда ветер вон как поддерживает и мчит на улицу. К тому же и то стоило взять в расчет, что когда Никита Иванович настроится идти в обратную сторону, так обе руки у него будут затянуты: в одной миска с блинчиками, а в другой — кувшин. И куда же в таком случае прикажете ему девать обременительный посошок? Под мышкой или за ремешком-поясом что ли тащить его назад в повесть?! Так ведь не боевая он казацкая шашка, без которой казак не казак!

В общем, отбился, отвязался Никита Иванович от назойливого посошка, и — ничего, все обернулось очень даже согласно: прижимая кувшин и миску в обхват к груди, Никита Иванович проделал обратный путь без особых приключений. Ветер и теперь помогал ему, поддерживал встречными своими порывами, будто туго натянутыми парусами, не позволяя завалиться ни вправо, ни влево, ни упасть, к примеру, на землю ничком. Так он и довел Никиту Ивановича до повети и даже, развернувшись в нужный момент одним своим крылом, легонько подтолкнул в дверь.

«Вот то-то же!» — сказал Никита Иванович в назидание посошку, который сиротливо и обидчиво таился в уголке в обнимку с метлой и соевым венником. Тот в ответ лишь вздохнул и повернулся кривулькой к стенке, хотя чего тут обижаться, радоваться надо, что Никита Иванович обошелся без него, дал отдохнуть и выпрямиться.

Трапезу себе Никита Иванович устроил на верстаке. Расстелил попавшую под руку газетку (Василий большой любитель почитать их здесь, в мастерской, в минуты отдохновения), водрузил на нее миску с кувшином и, подвинув поближе табурет, принялся за угощение. И что ж ты думаешь, не успел вдохнуть-выдохнуть, как ни единого блинчика и в помине не осталось, молоко в кувшине тоже переполовинилось. Вот едок, так едок! Жаль, не видит его сейчас Наташа, а то бы она все прежние свои упреки насчет слабого аппетита Никиты Ивановича напрочь оставила бы и позабыла.

После сытной такой трапезы, как и после хорошей работы, Никите Ивановичу, конечно, опять полагалось бы по всем правилам выйти из повети, с большой осторожностью перекурить где-нибудь в тени под деревом, а потом и вздремнуть полчаса-час (рабочему человеку больше и не надо, как эти полчаса-час безмятежного полуденного сна, чтоб после снова без усталости трудиться до самой зари вечерней), все на том же верстаке в повети. Никита Иванович прежде всегда так и делал, так и поступал.

Но теперь с куревом покончено раз и навсегда. Никита Иванович даже подзабыл всю его томительную сладость и головокружение. А вот передохнуть на верстаке можно. В повети в любую, самую знойную полуденную жару прохладно и не душно. Подложишь под голову телогрейку-стеганку, которая для такого случая всегда висит при входе на гвоздике, пиджак или картуз и, не успеешь прислонить к ним голову, как сон охватит, окутает тебя туманом своим, и ты безраздельно провалишься в него.

Верстак звал Никиту Ивановича, манил к себе, словно царское какое ложе, и он легко поддавался неодолимым тем приманкам. Немного, правда, поразмыслил, что лучше положить под голову — картуз или телогрей-

ку? На телогрейке, конечно, помогаче и поперше, но ведь и под бок что-то бросить надо: старому его, костлявому телу на голых досках поди будет мулко. Наконец решил, что многоумная голова и на картузе приладится за милую душу, а вот тело надо побережечь. Оно совершенно привередливым стало: чуть что не по нем, так после не разогнешь и не сложишь — бревно бревном.

Ложе у Никиты Ивановича получилось, действительно, куда твои царские пуховые перины. Давненько он на таком не почивал. Наташа как раз мягкими перинами-подушками Никиту Ивановича и балует, да еще сверху и одеялом верблюжьей шерсти прикрывает. Оттого, может, и бессонница по ночам Никиту Ивановича мучает, оттого, случается, он глаз до самого рассвета не смыкает. А тут, гляди, как все славно устроено: под боком телогрейка распростерта, под головой — картуз суконный. На фронте, бывало, Никита Иванович точно так же на краткосрочный сон-отдых устраивался: телогрейка-шинелька под боком, краснозвездная пилотка в головах, и — ничего, спал со всей молодой крепостью, никакие снаряды-бомбежки разбудить не могли.

Нынче, разумеется, годы у него не те, но ведь и войны, слава Богу, никакой нету, тишина и покой в округе — спи, не хочу! Один только петь-горлан поет во дворе, так он для сна не помеха.

Взбираясь на верстак, Никита Иванович принял на всякий случай меры предосторожности. Оперся вначале коленкой на табурет, а с него уже вполне благополучно взметнулся и на возвышение, на телогрейку (а до этого ведь промелькнули у него было даже сомнения — взберется на верстак без посторонней помощи или не взберется).

Умацивался Никита Иванович на ложе недолго: растянул во всю длину сладко утомленное тело, подложил под голову руки и тут же начал уходить в сон, тоже сладкий и тоже утомленный, каким не спал, Бог знает, с каких времен. Ему сразу стало что-то сниться, грезиться: вначале вроде бы туманное и неясное, а потом все ясней и ясней. Еще бы мгновение, минута, и Никита Иванович легко бы разгадал все эти видения и грезы. Но вдруг, откуда ни возьмись, предстала перед его взором (во сне ли, наяву — не разобрать) пустая водопойная бочка. А вслед за тем и корова Зорянка. Придет она с пастбища, ринется к бочке, а там воды на самом доньшке, в глубине, куда рогастой корове никак не дотянуться. И что прикажете измученной жаждой животине в таком расстройстве делать?! Только ревмя реветь, да бочку опрокинуть и ногами ее истоптать.

Сон от неожиданного этого беспокойного наваждения у Никиты Ивановича как рукой сняло. Он проворно вскочил с верстака (чего, признаться, от себя и не ожидал), спустился на пол и безоговорочно порешил, что передохнуть можно и опосля, а сейчас надо водопойную бочку помаленьку да потихоньку наполнить, чтоб она больше его ни в дреме, ни в бессонном лежании не тревожила.

Колодец у них во дворе. Путешествия до него всего ничего, метров пятьдесят. Поди Никита Иванович не переломится, если принесет десять — пятнадцать ведер воды. Занятие это всегда почиталось детским, ребячьим. Никита Иванович совсем еще мальчонкой был, лет двенадцати, а за ним, отцом и матерью закрепилась ежедневная обязанность наполнять водопойную бочку. И ничего, справлялся. Поначалу носил воду всего лишь одним не больно объемным ведром, а когда подрос, то вооружался уже двумя полноценными, двенадцатилитровыми, иногда, правда, для облегчения пользуясь коромыслом. А ведь воду они тогда на-

брала из колодца уличного, дальнего, расстояние до которого вдвое, втрое, а то, может, и вчетверо пространнее, чем до своего, дворового.

Мода на домашние дворовые колодцы пошла у них в селе в середине семидесятых годов. Народ к тому времени уже оттаял от войны, обжился, вошел в какой-никакой достаток. В районе стали образовываться всевозможные ремстройконторы и бригады, которые не за бог весть какую плату брались перекрывать шифером по окрестным селам соломенные обветшавшие крыши, менять деревянные недолговечные ушулы на железобетонные, устраивать бани. Образовалась и механизированная бригада по рытью колодцев и скважин.

Василий одним из первых в селе и заключил с ней договор. Поначалу он загорелся на новомодную скважину. Но Дарья Михайловна, Наташа, да и Никита Иванович, узнав, что воду из скважины надо доставать либо вот такусеньким ведерком со складывающимся дном, либо качать электрическим насосом, в три голоса воспротивились намерениям Василия. Как-то оно шибко замысловато получается и не по-человечески. Темень в той скважине египетская, ни самого малого блюдечка воды не видать, ведроко ухнет в эту тьму, а вернется ли назад (полное ли, пустое ли), еще неизвестно. Насосом же качать воду, к примеру, для полива сада, конечно, удобно и необременительно, но для домашних кухонных нужд как раз и обременительно, и неудобно, да и опасно: женщины им пользоваться не умеют, того и гляди, спалят-пережгут или обронят в бездонной этой скважине.

Колодец же — дело привычное, родное. В нем простор и свобода. Вода, издалека видимая и доступная, плещется, родниковым прозрачным озерцом, колыхнешь ее ведерком, приспособленным на журавлином крюке или на цепи-коловороте, и она по-живому отзовется на то колыхание подлинно озерным всплеском, волной и прохладой.

Василий послушал-послушал доказательства Дарьи Михайловны, Наташи и Никиты Ивановича в пользу колодца, и сломил свое сопротивление, согласился с ними. Закупил он в районе восемь железобетонных колец, и землеройная бригада при посильной помощи, совете и досмотре тогда еще пребывающего в силе и здравом уме Никиты Ивановича в одну неделю колодец углубила до родниковой ключевой воды. Цепной коловорот и двустворчатую будочку-укрытие над ним Василий с Никитой Ивановичем установили уже сами. Дарья Михайловна, правда, настаивала, чтоб они возвели более привычный и удобный для нее журавель. Василий и тут согласился с матерью, но не получилось — пространства для журавля во дворе не хватало. С тыльной стороны мешала крыша соседского сарая, а со всех остальных — сад: яблони, груши, сливы-вишни, которые в лучшем случае пришлось бы обрезать по высоким, самым плодоносным ветвям, а в худшем — так и вовсе спилить и выкорчевать. Дарья Михайловна, главная хозяйка и радетьница сада-винограда, такого и помыслить не могла, смирилась с коловоротом и приспособилась добывать им из колодца воду не хуже, чем летучим журавлем. А когда Никита Иванович взметнул на островерхом коньке будочки-укрытия голосистого золотого петушка, она и вовсе подобрела к нему, переговаривалась даже, случилось, с тем задиристым петушком, повелевала ему сторожить их дом и усадьбу, их царство-государство бдительно и неусыпно.

Для экономии времени заходить в дом за ведерком Никита Иванович не стал, а решил попользоваться тем, что обреталось в повети-мастерской, все равно воду в нем надо бы сменить, прогрелась она за день, замутилась.



Выплевкивать, однако, ее почем зря на улицу он не посмел, а обильно полил комнатные цветы: герани, огоньки, фиалки, кактусы-столетники, что всегда стояли у Василия в летнюю пору в мастерской на подоконнике. Тоже, небось, истомились от жажды?!

Полный решимости и отваги, Никита Иванович вышагнул было за порог, но потом вернулся назад и взял в свободную руку отдохнувший и как бы даже помолодевший посошок. Тут храбрись не храбрись, а осторожность не помешает. Тяжелое ведерко склонит тебя в одну сторону, и не успеешь оглянуться, как опрокинешься наземь, а посошок-кривулька, верный товарищ и побратим, выручит, не даст опозориться и осрамиться, уберезет от нечаянного увечья.

Ради все той же осторожности и пробы Никита Иванович первое ведерко наполнил не по самый венчик, как это полагалось бы по всем водоносным правилам и обычаям, а всего лишь на треть, не долив до венчика ладони на две. Нес он его бережно, за каждым зыбким шагом поглядывал, не плещется ли вода и при таком малом наполнении через край. Трудовую правую руку Никита Иванович для лучшего удержания приспособил на бедро, а левую, с зажатым в ней посошком, откинул на отлет и, захватывая далеко вперед землю, опирался на него с удвоенной силой, подталкивал себя и тем сохранял равновесие. Со стороны посмотреть, так смешно, наверное, все это у него получалось. Идет, хромает, будто колченогий петух. Но, слава Богу, никто не видит его позора и немощи. Соседи все по работам, в полях и огородах, а с улицы Никиту Ивановича укрывает высокий забор и садовые деревья. Да оно и не в соседях, не в людях дело: от себя стыдно. Дожился, доработался старый солдат, пехотинец и сапер, ведра воды толком принести не может. А ведь бывало...

Что бывало, Никита Иванович вспомнить не успел, опрокинул ведерко в бочку (воды там не прибавилось, кажется, ни на каплю — вся брызгами она разлетелась по стенам). И вдруг такая обиды и такая злость разобрала его, что хоть криком кричи и стеной. Если и вправду Никита Иванович будет носить воду всего по полведерка, то и до позднего вечера бочку не наполнит. Лучше уж было и не начинать, не испытывать себя. А если начал, так, будь добр, работай, как надлежит работать серьезному, ответственному мужчине. Отбрось в сторону посошок, который на самом-то деле никакой тебе не помощник, а только помеха, бери в руки два ведра, держи ими равновесие — и действуй. А то вон уже и куры над тобой смеются, не то, что люди.

В нештучной этой горячке и обиде Никита Иванович сходил в сени, взял там запасное ведро и, отбросив, где придется, посошок, заторопился к колодцу скорым и широким шагом. Воды он теперь в оба ведра налил всклень, под венчик и ободок. И как-то сразу на душе у Никиты Ивановича потеплело.

Вода в ведрах первородно колыхалась, шла волною и хвyleю, раза два даже выплеснулась через край, побуждая Никиту Ивановича браться за дужки. И он, не медля ни минуты, взялся, сорвал ведра с земли и пошел, пошел, шаг за шагом, не клонясь ни влево, ни вправо, а точно по тропинке, как солдат на занятиях по строевой подготовке. Плечи от тяжести у него пропустились, но не обвисли, а налились силой и крепостью, которая передавалась им от живой и живительной воды из полновесных ведер.

Глядя на трудовой подвиг Никиты Ивановича, куры от изумления затихли, перестали копошиться и кудахтать в траве-мураве, выискивая

там себе какую-то поживу. И лишь главарь их и предводитель, ярый бо-  
тух, растопырив крылья, закричал так голосисто и горласто, что сторо-  
жевой золоченый его сородич на колодезном коньке тоже вострепнулся,  
привстал на одной ноге и закричал ответно еще громче и еще голосистей.  
По крайней мере, Никите Ивановичу так почудилось и послышалось.

— Ну, раскричались! — для порядка приструнил заполошных пету-  
хов Никита Иванович, хотя самому и было приятно (чего уж тут скрыт-  
ничать), что оба они, и живой, и золоченый, так победно приветствуют  
его, поощряют и оказывают душевную помощь в труде.

Одно за другим Никита Иванович опрокинул ведра в бочку, и воды  
там сразу заметно прибавилось: она поднялась на добрую ладонь вверх,  
омыла сухие, успевшие даже порыжеть на солнце дубовые клепки, кото-  
рые от удовольствия и утоления жажды возвышенно скрипнули, будто  
ойкнули в обручах.

Удаче своей и обретению Никита Иванович по-мальчишески обрадо-  
вался, подхватил пустые, облегченные ведра и, не давая себе и самой  
малой, минутной передышки, устремился назад к колодцу. Радость, она,  
конечно, радость, но только обольстись ею чрезмерно, расслабься, так тут  
же поплачешься: тело разомлеет, расслабонится, и захочет тебе при-  
сесть, а то и прилечь где-нибудь в теньке. Знает Никита Иванович эти  
обольщения, испытывал. В молодые годы они, к примеру, не очень-то и  
опасны: посидел-полежал, перекурил, хрустнул отдохнувшими костями  
да и побежал дальше. А нынче и поостеречься надо — поспешай дело кре-  
стьянское делать, пока кости приспособились к движению и не встали  
колом.

Водопойная бочка была у них двадцативедерная, и Никите Ивано-  
вичу пришлось сделать еще восемь ходок, да потом в заключение одну до-  
полнительную, девятую, как и замысливал он первоначально: поэтим-  
ствованное в повети ведерко полагалось вернуть назад, наполненное све-  
жей глубинной водой. Никита Иванович и вернул его, устойчиво водрузил  
на лавку, прикрыл сверху крышкой, а рядышком на виду и подхвате  
поставил кружку, предварительно хорошенько ополоснув ее от возмож-  
ной пыли. Второе ведерко можно было определить в сенях и опорожнен-  
ным, каким и брал его в пользование. Но Никита Иванович проявил тут  
своеволие, вполне вразумительно решив, что лишняя вода в доме никог-  
да не помешает. Вернется Наташа с гостеваний, станет хлопотать возле  
печи, мыть-перемывать после ужина посуду, так вода эта очень даже ей  
пригодится.

Управившись с ведрами, Никита Иванович подобрал оброненный  
посошок, чистосердечно повинился перед ним, мол, сам понимаешь, ра-  
бота есть работа, ее на трех ногах делать не годится. Посошок вроде бы  
простил его, надежно лег ручкой-кривулькой в ладонь, и они опять срод-  
нились с ним — два старых, неразлучных вон уж сколько лет товарища.

Когда работаешь, время летит минутою и даже секундою и мгнове-  
нием, не то, что на подзаборной лавочке в безделье и скуке: там оно тя-  
нется, словно заморенный вол в скрипучей телеге. Пока Никита Ивано-  
вич таскал воду, гремел ведрами, переговаривался-перекликался с пету-  
хами и курами, солнце поднялось в полуденную свою высоту и даже за-  
метно стало клониться за речку, к закату.

Опираясь на обретенный посошок, Никита Иванович подошел к по-  
вети, присел на порожек и стал не так уж чтоб и чрезмерно, но все ж таки  
чутко прислушиваться к себе, определять, требует его разгоряченное тело

получасового отдыха или можно просто посидеть здесь, на порожке, в тени и прохладе, да тем и удовлетвориться. Вроде бы требовало, млело и томилось, всеми частями и членами, понуждало Никиту Ивановича ко сну, утомленное домашней, не бог весть и какой, если сравнить с былыми временами, работой. Он склонен уже был подчиниться этому требованию и, проникнув в поветь, залечь на верстаке, тем более что и телогрейку он убрать с него и повесить на гвоздик не успел. Но тут неожиданно-негаданно заволновался в сарае поросенок, а вслед за ним подал голос и малый, сеголетний бычок, который обретался в загоне рядом с поросычьей клетушкой-закутой.

— Вы чего, ребята?! — издалека крикнул Никита Иванович. — Не кормлены, не поены, что ли, или от баловства и скуки ревете?!

Поросенок и бычок на минуту затихли, а потом отозвались еще громче и настойчивей, требуя к себе внимания, хотя, если разобраться, то, может, и неурочно. Собираясь утром в дорогу, Наташа накормила поросенка с добрым запасом да еще и добавки плеснула в корытце (Никита Иванович видел, как она уже перед самым отъездом носила в сарай ведерко с картофельно-мучным замесом), так что можно целый день спать-нежиться, зарывшись в солому. Бычок тоже не обижен. Василий бросил ему в ясли здоровенную охапку-навиленьик свеженакошенной травы и в отдельном ушате-цеберке поставил опять же мучного пойла — неужто все подобрал?

При таком визге, волнении и реве малолетних обитателей сарая Никите Ивановичу с отдыхом пришлось повременить. Оно, и время, по здравому размышлению, для него прошло. Отдыхать надо было часов в одиннадцать — половине двенадцатого, а нынче уже поди второй час; все, кто отдыхал, давно на ногах, бодрствуют и втягиваются в новую полуденную и вечернюю работу.

В бревенчатом рубленом сарае было темно и незнойно. Никита Иванович пошире распахнул ворота, чтоб при солнечном дневном свете, который сразу устремился туда, оттеснил темноту и сумрак в дальние углы, поглядеть, что там у поросенка с бычком за беда, что к чему. Оказалось, поросенок по малому своему возрасту, играясь и балуясь, перевернул корытце, откатил его к стене да еще и зарыл в солому-подстилку. Вообще он норовистый парень, непоседливый, как бы не пришлось вставлять ему в пятак железное кольцо, чтоб поспокойней себя вел. Но это, понятно, попозже, когда войдет он в силу и вес. А пока, куда ж денешься, надо потакать ему, хотя и строгим словом окорачивать не мешает.

— Ну, что, — проникнув в закуту за корытцем, вступил с кабанчиком в переговоры Никита Иванович, — проголодался?

Кабанчик в ответ пронзительно взвизгнул, замахнулся даже было на пустое корытце мордочкой, но потом опомнился, виновато зачмокал пятакком и сказал на поросычьем своем языке Никите Ивановичу:

— Оно само перевернулось!

— Ладно тебе, само! — погрозил ему посошком Никита Иванович. — Озорничал, небось?!

Кабанчик отвернул пятакком в сторону, засопел, будто заплакал, а потом вдруг повалился на бок и подставил Никите Ивановичу розовое свое, покрытое белесой щетинкой тельце, зная, что тот непременно почешет сейчас и за ухом, и по спине, и по нежно-молочному животику. Наташа, главная кормилица и поилица кабанчика, приучила его к этому. Никита Иванович не устоял перед просьбой разомлевшего озорника, при-

сел на корточки и почесал его везде и повсюду, хотя и не преминул для назидания и потрепать за ухо. Кабанчик лежал тихо и смиренно, вытягивал от удовольствия ноги, полусонно помахивал скрученным в колечко хвостиком да чуть слышно похрюкивал и повизгивал. Ну, дитя дитем!

На том они и помирились. Кабанчик, кажется, совсем разомлел и уснул под рукой Никиты Ивановича или притворился спящим (тот еще игрун!), а Никита Иванович, поправив корытце, устремился в дом, чтоб приготовить для оголодавшего неслуха-баловника новую, обеденную порцию замеса-болтушки вместо так нахально им опрокинутой.

В сенях Никита Иванович добыл из-под лавки специальное, называемое у них в доме «поросячьим» ведерко и принялся готовить кабанчику обед. Из дубовой объемистой ряжки он зачерпнул несколько горстей сваренной Наташей утром и усердно помятой толкачем картошки, добавил туда совочек ржаной муки из мешка, что стоял здесь же, в сенях на лавке. Потом Никита Иванович со всеми предосторожностями достал ухватом из печи чугунок с горячей водой и, по мере потребности подливая ее в ведерко, принялся творить замес-болтушку. В деревенской жизни вообще-то дело это сугубо женское. Хозяйка на то и хозяйка, чтоб варить обед, стирать, убираться в доме, да кормить всю домашнюю живность: коров-поросят, кур-уток, гусей-индюшек, если они у кого есть в подворье. Мужчины в женские пределы не вмешиваются, у них свои обязанности: пахать землю, косить сено, рубить дрова, заниматься столярным или плотницким мастерством. Покойная Дарья Михайловна Никиту Ивановича в свои владения допускала редко. Наташа держит Василия тоже подальше от кухни. Но бывают случаи (заболеет хозяйка, занеможет или окажется в отъезде, как нынче Наташа), когда мужчина ломает свою гордыню и привычку, берется и за ложки-поварешки, и за стиральное корыто, и за нитку с иголкой. Никите Ивановичу, правда, ничего ломать не надо. Для него сегодня и такая вот совсем неброская, немужская работа в радость и удовлетворение. Руки, а еще больше душа, соскучились по ней, притомились в безделье. И разбираться тут некогда: мужская она или женская — зазорной работы в человеческой жизни не бывает. Лень и безделье зазорны — это да! А работа, если только ее не спустя рукава, не равнодушно делать, всегда в радость, было бы только здоровье да какая-никакая сила.

Подбадривая и вдохновляя себя такими вот разумными рассуждениями, Никита Иванович «забелил» поросячью трапезу кружкою молока, словно наваристый борщ сметаню, и понес в сарай. Без такой «забелки» разбалованный Наташей кабанчик есть не станет, разгневается, рассердится и с досады прямо на глазах у Никиты Ивановича опять опрокинет корытце. Разгорячась и сразу не разведав, не распробовав еду, он и с «забелкою» может корытце в одну минуту перевернуть вверх дном. Наташа сколько раз жаловалась на него. Но Никита Иванович тоже не лыком шит. Уж чего-чего, а перехитрить кабанчика-разбойника он пока еще сумеет.

Прежде чем налить болтушку в корытце, Никита Иванович отыскал в повети хорошую проволоку и за поперечную ручку основательно прикрепил, приторочил его к дверному косяку. Кабанчик поколебал корытце туда-сюда мордочкой, но быстро уразумел затею Никиты Ивановича и с завидным аппетитом, с похрюкиванием и даже стоном припал к еде, радуя старого хозяина своим послушанием.

Никита Иванович несколько минут постоял еще возле закуты, почесал кабанчика ради поощрения вдоль хребта, а потом распрощался с ним

и пошел к бычку, который уже тянул к нему поверх перекладкины голову с начавшими пробиваться рожками.

— У тебя что за оказия, звездочет?! (у бычка на лбу горела-светилась яркая молочно-белая звездочка — оттого и звездочет), — тоже со всей строгостью в голосе спросил Никита Иванович.

— Да вот, — чистосердечно признался бычок, — траву из яслей рогами повыкинул и истоптал ногами-копытцами, а теперь есть хочется.

Никита Иванович заглянул в ясли, проверил, так ли оно на самом деле. И вышло, что так. Трава, считай, до самого донышка была повынута и брошена под ноги (молочные рога у бычка растут, чувствуются, беспокоят его — он и балует). Цеберко с пойлом, к счастью, осталось нетронутым. Попить из него бычок попил (и, похоже, не раз), но с места не стронул, поостерегся. И то хорошо.

— Ну, что с тобой делать?! — покачал головой Никита Иванович. — Сейчас что-либо придумаем.

Хотя, чего ж тут думать, чего чрезмерно размышлять?! Вон в углу стоят две косы: одна взрослая, мужская — «девятка», а другая, детская и женская — «семерка». Не коса даже, а скосочек, который когда-то Василий приучал к косьбе своих сыновей-подростков, Сергея и Степу, как в былые, довоенные времена отец приучал и самого Никиту Ивановича. Бери любую и отправляйся с нею хоть за огороды, в луга, где на торфяном болотце стелется понизу мягкая трава гусятник, а хочешь, в вишенник, что зеленокипенным островком раскинулся у них по меже, сразу за воротами. Там трава иного произрастания: садовая, межевая — пырей, овсяница — бычок-третьячок до нее особо охоч.

Никита Иванович взял было косу-«девятку» (косить так косить), но потом со вздохом вернул ее на место. Не потянет он нынче «девятку», под нее сила нужна мужская, в самом соку и разгаре, а не стариковская, исходящая. К тому же, «девяткою» лучше управляться в лугах, где простор и размах, но ведь путешествие туда далекое и опасное. Порожняком, с одною только косою на плече да поводком на поясе Никита Иванович, может, как и доберется, а обратно, груженный вязанкою, поди, и задохнется. Так что целиться ему надо в ближний вишенник, где в междурядье молодых и старых, но еще плодоносящих вишен, «семерочка» будет Никите Ивановичу и в силу, и в неширокий прокос-ручку.

Он легко, будто играючись, подхватил ее на плечо, подпоясался поводком, который обнаружил тут же на вбитом в бревенчатую стенку костыле, в карман положил брусок-монтачку и в полном вооружении и отваге вышел за ворота, в вишенник.

Трава там стояла в пояс, да такая густая, такая сочная, в полном наливе от недавно прошедших дождей. Василий, добывая прокорм бычку в лугах, ее не трогал, словно нарочито берег для такого вон непредвиденного случая, когда Никита Иванович определится в косари.

Косить поясную эту траву лучше бы по утренней или по вечерней росе, как косили они когда-то в памятные довоенные годы луговой свой надел с отцом и братьями или в послевоенные, с малолетним Василием. Но бычок-третьячок до вечера, вишь ты, ждать не желает. Ему сейчас, в самую жару и спеку, вынь да положь подкормку.

Никита Иванович остановился на опушке вишенника, крепче упер косьбе в землю и начал наводить-монтачить детско-стариковскую свою «семерочку». И какой звук от нее пошел, какой голос: возле пятки стремительно-острый, высокий и звенящий, а возле носка, когда Никита Ива-

новлич обхватил-обнял полотно касы рукой, глуховато-низкий, но все равно такой желанный Никите Ивановичу, и так веселящий его вмиг помолодевшую душу.

Первые два-три замаха дались Никите Ивановичу как бы даже и с трудом: в пояснице что-то опасно колыхнулось и напряглось, а в простреленной на войне возле самого плеча левой руке вспыхнула застарелая боль. Но потом он приловчился, перенес, перетерпел эту случайную боль и неудобства и через минуту, через шаг-другой забыл о них и думать. Скосочек, тоже, было видно, крепко соскучившийся по работе, вжикал в траве со всей старательностью и прилежанием, подрезал ее под самый корешок, выбривая, как у них говорят, до твердого садового дерна. Сразу запахло травяным, живительным соком, подрезанной кое-где на бугорках земель, потревоженными корешками. Запах этот смешивался с запахом вишневого, проступившего в полуденную жару то там, то здесь на стволах вишневого клея, вишневого, чуть привядшего на солнце листа и самих ягодок-вишен, терпко-сладких и темных. К нынешней поре, к середине августа, вишня, понятно, давно уже отошла — отцвела, налилась соком и созрела. Сергей со всем семейством, внуками, правнуками приезжал собирать ее урожай. То-то было здесь веселья и гомона! Но кое-где на отдаленных верхинках, да и понизу на густых кустистых веточках одна-две (а то, гляди, и пять-шесть) вишенок укрылись от проворной детворы. Теперь вишенки уже перезрели, привяли и оттого так томительно пахли и были так желанны любому и каждому, кто обнаруживал их и добывал в укрытии. Иная вишенка была тронута клювиком беспокойно-ветреного воробья, но это не беда. Вокруг поклевки проступил сок, запекся, и ягодка стала еще слаще, еще томительней, а, случается, так и вовсе хмельной.

Никита Иванович в детские свои, мальчишеские годы очень любил охотиться за этими перезрелыми вишенками, отгонял от них воробьиные шумливые стайки, рвал и понизу, и на гибких верхинках, куда взлетал стремглав. От его пристального взгляда не укрывалась ни единая ягодка, и Никита, бывало, набирал их полный картуз и для себя, и для малолетних братьев, Вани и Степы, которые, запрокинув головы, стояли у подножья деревьев.

Никита Иванович и теперь не удержался от поиска. Увязав потуже поводком вязанку, он помедлил вскидывать ее на плечи, а пошел по прокосу вдоль вишенного ряда, и что ж ты думаешь, обнаружил с полдесятка ягодок, как раз таких, о каких и мечтал — перезрело-привядших и тронутых воробьиными клювиками. Были они и на дальних верхинках, но туда Никите Ивановичу уже не добраться, не взлететь, пусть ими всецело распоряжаются и лакомятся воробьи. А эти, низовые, Никита Иванович по-ребячьи оборвал в картуз, присел на вязанку и начал тоже по-мальчишески забавляться (смаковать, как у них говорят) последними в уходящем плодоносном году наливными вишенками. Иногда он в хмельной истоме прикрывал глаза, и ему вдруг начинало казаться, что вон там, на другом краю вишенника в густой траве стоят два его младших погибших на войне брата, Ваня и Степа, и терпеливо ждут, когда он поделится с ними добытым урожаем. Никита Иванович протягивал им весь картуз, но тот резко провисал и ронялся на землю, а братья исчезали, будто намеренно прятались от Никиты Ивановича в молодом вишенном подлеске. Он лишь вздохнул от этих неожиданных-негаданных видений, подхватил вязанку и, несколько раз опасно пошатнувшись, понес ее во двор.

Бычок встретил Никиту Ивановича веселым задорным мычанием, жадно набросился на траву и незаметно вернул косаря и собирателя позднего урожая в сегодняшней день, в непреходящую трудовую жизнь.

Косу, поводок и монтачку Никита Иванович определил в уголок, в прежние, узаконенные для них места: косу рядом со старшей ее, взрослой сестрой-«девяткой», поводок на крюк, а монтачку на дощатую полочку, где она всегда и покоилась по заведенному когда-то отцом порядку. Василий поди и не заметит никакого в них нарушения, а то ведь может и раскочурять. «Чего ты, — скажет, — отец, изнемогаешь, я сам, что ли, не накосишь травы?!» Накосить-то он, конечно, накосит, но ему, молодому, не старому еще, не понять пока, как охота было взять Никите Ивановичу в руки косу, как охота помонтачить ее брусочком-монтачкой, а уж как охота пройти хотя бы маленький прокос — о том и говорить нечего. Это понимание только в большие, древние годы настигает человека.

Уняв поросенка и бычка, Никита Иванович поплотнее притворил ворота в сарае, чтоб туда не проникли вездесущие куры (они нахальные — залетят и в закуту к сонному кабанчику, чтоб полакомиться остатками его трапезы, как будто своей, куриной, еды им во дворе не хватает; и в ясли к бычку, разгребут там забавы ради свеженакошенную траву) и присел опять на порожке возле повети.

Порожек был уже весь в тени и прохладе. Солнце обошло повесть с тыла и теперь тешилось на огороде: то стремительно бежало по желтогорячим головам подсолнуха, словно пересчитывая их, то пряталось в высоко сложенных на стерне копах и полукопах-кресцах золотисто-дозревшей ржи, то вдруг устало падало на крышу старинной баньки, что притаилась у них напротив вишенника по другую сторону огорода под узколиственной вербой. Никита Иванович во всем понимал предвечернюю эту усталость солнца. Попробуй, посвети с четырех часов утра, согревая все окрест, начиная от самой малой, мелкой букашки и травинки и заканчивая высоченными деревьями, быстротекущей рекой, лугом и полем, так притомишься к полудню донельзя и захочется тебе отдохнуть на пологой крыше укромной баньки. Никита с братьями, бывало, тоже взбирался туда по крутой лесенке и мог, распластавшись, часами лежать на осино-вых, поросших кое-где зелено-кустистым мхом досках, словно на мягкой перине (банька тогда была у них покрыта деревянным тесом, хорошо державшим влагу и тепло). Отрадно было им с братьями роскошествовать на ней, слушать шелест листьев молодой еще в те годы вербы, вести задушевные мальчишеские разговоры, предаваться мечтам и мечтаниям. Теперь по новой моде банька, разумеется, перекрыта шифером, но солнышку покойно и на шифере, потому как верба без малого за век разрослась и ввысь, и вширь и нависает над банькой тeneвым густотканым шатром.

Боясь вспугнуть притаившееся на крыше солнышко, Никита Иванович сидел на порожке тихо и бездыханно, изредка лишь позволяя себе позабавляться посошком, провести по земле длинную, словно итоговую какую черточку. И дочертился до того, что неведомо как, каким путем и образом настигло его за этим подлинно стариковским занятием одно неодолимое желание. А чего бы это Никите Ивановичу после трудов праведных не помыться в баньке?! Очень даже неплохо было бы помыться-попариться, переодеться в чистое, свежее белье и встретить Василия с Наташей добрым разудалым молодцем. Никита Иванович немедленно бросил унылую стариковскую забаву, затоптал, засыпал песком черточку и, свободно помахивая посошком, пошел в баньку на разведку. Если Васи-

лий наполнил котел водой, накачал ее туда глубинным насосом, то от желания своего Никита Иванович ни за что не откажется, жарко натопит печку, разогреет воду до огневого кипятка и устроит себе подлинную солдатскую помывку.

Котел оказался залитым водой под самую крышку. Возле печки лежала добрая охапка дров, а впритык к коробу с камнями стоял медный ковшик с квасом. По всему было видно, что Василий с Наташей не иначе, как сегодня вечером, вернувшись с дальней дороги и гостевания, намеревались завести баньку. Это ведь тоже сам Бог велел — после дороги и гостей помыться-попариться.

Ну, а коль такой у Василия с Наташей замысел, то Никита Иванович упреждает их желание: баньку растопит-разбередит, испробует на себе: все ли в ней ладно и хорошо (воды в котле с великим запасом — на всех хватит) и передаст ее Василию и Наташе уже наполненную жарким стоградусным паром, от которого снимается любая дорожная усталость, любая немощь и хворь.

Никита Иванович выгреб маленькой кочережкой из печки и поддувала пепел в глубокий противень, стоявший у подножья печки, закинул в зев дрова, обложил их древесной стружкой, тоже предусмотрительно заготовленной Василием, и зажег огонь-пламя всего с одной спички.

Печка, принимая его, сразу весело загудела, зарокотала, обещая хороший жар и нагрев. Никита Иванович на всякий случай послушал минуты две-три утробное это гудение: мало ли чего — огонь обманчив и коварен, вначале займется, воспламенится, а потом вдруг и опадет, погаснет. Но вроде бы все было ладно, уже высоко пылала не только одна стружка, а и березовые полешки-дрова, наполняя предбанник томящим запахом дегтя. Никита Иванович плотнее прикрыл чугунную дверцу и понес противень с пеплом к летней кухне, сооруженной под навесом в отдалении от жилых огнеопасных строений. Там у Василия был оборудован для пепла просторный оцинкованный ящик. Того потребовала и на том настояла Наташа. Сразу за кухонькой у нее разбита грядка помидоров, а пепел для них первейшее удобрение и защита от всякой тли.

Никита Иванович опрокинул противень в ящик и вознамерился уже возвращаться назад к баньке, но потом любопытства ради заглянул под навес и вдруг увидел, что кухонная печка с чугунной на две конфорки плитой разобрана до самого поддувала. То-то Наташа, кажись, от самого Петрова дня готовит обед в доме, а не в летней этой, так любимой ею кухне. И только теперь Никита Иванович припомнил, что разговор насчет летней кухни велся у Василия с Наташей давно. Наташа сетовала и жаловалась, что печка-плита там дымит и «прикидывает», а в нескольких местах так и вообще пошла трещинами, того и гляди, случится пожар. Василий обещался печку переложить, исправить, но, видно, за полевой неусыпной работой руки у него до печки не доходили, хотя намерения Василия починить ее во всем видны. Вон в уголке заботливо прикрытый рубероидом стоит штабелек красного обжигного кирпича, насыпана высокая горка белого мелкозернистого песка, в плетеной ивовой корзине заготовлена сухая глина. Полукруглое, вырезанное сваркой из железной бочки «творило» тоже здесь. Не случись сегодня у Василия поездки в город, к Сергею, так он с утра и занялся бы, наверное, печкой. Тут и делов-то всего часа на два, от силы — на три, тем более что старая печка загодя разобрана, фронт работ, как говорится, налицо. Разводи глину, бери в руки мастерок, уровень, печной молоток — и гони ряд за



рядом, соединяя печку со «сторчевой», хорошей тяги трубой, которая ремонта пока вроде бы не просит. Особого расчета и разметки кладка не требует: не предвидится ни единого «колена» или поворота, самая большая задача — вставить дверцу да сверху положить плиту. Но на это великого ума не надо.

Сердце у Никиты Ивановича зашло в горячем волнении. Уж если выпал у него сегодня такой счастливый день, что отважился Никита Иванович и на одну работу, и на другую, и на третью, так чего бы ему не подмогнуть Василию и с печкой, не порадовать Наташу, которая в летние месяцы привыкла все варить-жарить на свежем воздухе, не томя понапрасну дом ненужным ему в эту пору жаром.

Печник из Никиты Ивановича, конечно, послабее, чем столяр и плотник. Но и не совсем уж так, чтоб никудышный. И русскую печь может сложить, и лежанку-грубку, хоть голландку, хоть самую обыкновенную, продольную, на которой зимой в трескучие тридцатиградусные морозы можно спать-нежиться за милую душу. В свое время он и у себя в доме печь с лежанкой сложил, и, слава Богу, ни Дарья Михайловна, ни Наташа на них ни разу не пожаловались. По селу из края в край в старых домах, считай, через два подворья на третье тоже печки Никиты Ивановича, и тоже вроде бы служат безотказно — жалоб и нареканий на них нету.

Понятно, что все эти печки-лежанки он клал в рабочие свои годы, но с малой печкой-печуркой под навесом уж как-нибудь справится и нынче. Пока банька будет созревать, насыщаться теплом и паром, пока вода в котле закипит, Никита Иванович здесь, на летней кухоньке и руки помоем.

Посошок-кривульку Никита Иванович при таком бодром замысле насчет печки, опять пришлось отложить в сторону — пусть отдыхает, дремлет в тенечке под яблоней, натешиться они с ним всегда успеют. А теперь чего ж медлить, надо завести раствор, да с Божией помощью и поправить печное сооружение.

Заготовленные Василием глину и песок Никита Иванович тщательно перемешал в «твориле» в расчете один к трем (большие комки глины размял даже кое-где руками), потом залил всю эту шихту в меру и потребность водой и довел раствор совковой лопатой до густоты сметаны, хоть на хлебушек его намазывай.

Глубоко, во все легкие вдыхая глиняный и песчаный запах, Никита Иванович взял за мастерок и сам не успел оглянуться, как печная, забирающая всю душу, работа у него закипела, не оставляя ни единого мгновения для любых иных дум и рассуждений. Первым делом Никита Иванович по отвесу и уровню вывел все четыре угла, закрепил на проволоке дверцу, а потом выложил простенки. Мастерок, словно какая летучая птица, играл-поигрывал у него в руке. Никита Иванович даже удивился этому: столько лет не прикасался к нему, а, оказывается, тоже ничего не забылось, не утратилось. Ни разу не перебрал он на мастерок глины-раствора, ни разу не промахнулся с ним на очередном кирпиче: все получалось в точный расчет и место. Положишь кирпич, стукнешь-пристукнешь по нему черенком мастерка — и торопись со следующим.

За все время работы Никита Иванович отлекался от печки всего трижды: путешествовал проведать баньку, подложить дров, проверить котел, как в нем вода — созрела до полного кипения или пока еще только на подходе.

Завершили они это незримое соперничество, соревнование с банькой,

считай, шаг в шаг. Только Никита Иванович водрузил на готовую уже печку чугунную плиту и заделал ее в потемок раствором, как вода в котле изошлась бурунами и водоворотами.

Никита Иванович наскоро убрался возле печки, чтоб не было возле нее никакого видимого разорения, а один лишь законченный порядок. Можно, конечно, было (да и желалось) посидеть под навесом на скамеечке, полюбоваться содеянным, но банька настойчиво звала и требовала Никиту Ивановича к себе, курилась над трубой белесым, похожим на августовское облако дымком. Медлить не выходило никак: упустишь в баньке каленый жар, какая после этого будет тебе парилка, какое обновление тела и души?!

Никита Иванович и не промедлил ни минуты. Наскоро заскочил в дом, взял в шифоньере чистое нательное белье, аккуратно выглаженную Наташей верхнюю мягонькую рубаху, мохнатое полотенце-утиранник и во все ноги, бегом и подбегом устремился к баньке, которая совсем уж изнемоглась от перегрева и, похоже, даже удивлялась и сетовала, мол, что ж это за незадача такая: печка раскалена докрасна, вода в котле кипит, срывает крышку, а парильщик никак не появляется — или заробел и отменил купание?!

— Да здесь я, здесь! — разоблачаясь в предбаннике, успокоил ее Никита Иванович.

Тело его было по-стариковски белым (загар взялся только по лицу и шее) и незавидным, порядком изношенным и на войне, и в мирной повседневной жизни, все покрытое шрамами, ломанное и переломанное, но еще живое, дышащее и желающее дышать. Сейчас Никита Иванович хорошенько пропарит его, прокалит, и увечное это тело помолодеет, нальется силою, и, глядишь, Никита Иванович и раму еще не одну свяжет, и печку не одну сложит.

Прежде чем нырнуть из предбанника в самую баньку, в огнедышащую ее утробу, Никита Иванович придирчиво выбирал веник из немалого их числа, висящих на жердочке, не зная, на каком сосредоточиться — на дубовом или на березовом. Дубовый вроде бы покрепче и похлеще, но березовый как-то родней, что ли, запах у него более томительный и сладкий. В конце концов Никита Иванович остановился на березовом, с густыми, тесно прижавшимися друг к другу листочками.

Окунув его в шайку с водой, он распахнул дверцу — и едва не задохнулся от окутавшего его жара, едва не попятился назад. Но потом осилил минутную свою слабость, поплотней захопнул за собой дверь, и жара этого ему уже показалось мало, не в достаток, Никита Иванович взял ковшик с квасом и с расчетливого замаха плеснул из него на раскаленные камни. Они по-змеиному зашипели, вздрогнули и взорвались таким горячим и плотным облаком пара, что казалось, банька не выдержит, рассыплется и раскатится по бревнышку. Но она выдержала, устояла. Бревна и вправду, как почудилось Никите Ивановичу, надсадно скрипнули и даже повернулись в пазах, но через мгновение впитали в себя пар и только поплотнее прижались от него друг к другу.

Выдержал, устоял и Никита Иванович. Он до полной мягкости размочил, размолел в шаечке веник, каждый его листочек и каждый пруттик, отряхнул излишки воды, вдохнул-выдохнул сколько помещали легкие горячего воздуха и самым беспощадным и безжалостным образом пошел хлестать и нахлестывать свое брренное, утомленное тело. И мало того, что нахлестывал по плечам, по спине (куда только можно было достать, до-

тянуться), по груди и ногам, так еще и покрикивал на него, укорял строгими дерзкими словами:

— А вот тебе, вот тебе и вот! Не сиди у забора, не коченей!

Тело вначале изумилось и нешуточным, с потягом, ударам Никиты Ивановича, и осуждающим его словам, а потом лишь зарозовело, застонало в сладкой истоме каждой своей жилочкой, суставом и косточкой, во сто крат повторяя те стоны и отклики, которые обрело в мастерской-повети при первых замахах Никиты Ивановича шершепкою. Эта переключка еще больше взбодрила его и обрадовала.

— Живем, значит, можем! — не уставал он восторгаться и обрабатывать себя березовым пахуче-саднящим веником. — Работаем и паримся!

В баньке, конечно, лучше мыться-париться вдвоем или втроем, дружной артелью и сообществом, чтоб один лежал плашмя на полке, хоть на нижней, умеренно жаркой, хоть на самой верхотуре, где, казалось бы, никакого продуху нет, а другой и третий охаживали бы тебя в два веника, пока не согласишься пощады и спасения.

Никиту и Ваню со Степаном с самых малых лет приучил к баньке отец. Уж он был парильщиком из парильщиков, знал в этом деле все искусства и тонкости, безвозвратно выгонял из тела любую хворь и забвение. Оттого, может быть, Никита с братьями выросли телом и духом здоровыми, пригодными и к крестьянской мирной работе, и к ратной, военной.

Банька затевалась у них в доме каждую субботу. И был этот субботний день для всех домочадцев праздничным, престольным и храмовым. Мать непременно пекла «банный» (так она его называла) пирог-братину с грибами, рыбою, капустою или ягодою-калиною, ставила самовар, и они сидели за тем столом иной раз до позднего звездного вечера. Отец с матерью выпивали по рюмочке водки, а дети какой-нибудь сладкой целебной настойки, вишневой, черничной или смородиновой. Вечера те на всю жизнь запомнились Никите Ивановичу; жаль только, что продолжались они недолго — война, окающая, все смешала и спутала.

Василий с Наташей тоже до баньки очень охочи. Вишь, надумали затеять ее сегодня. День хоть и не субботний, а самый обыкновенный, трудовой, но для них праздник вровень престольному — сына-невестку проведали, внуков-наследников повидали. Честь и хвала им за это!

Никита Иванович по-хорошему позавидовал Василию с Наташей, а потом даже чуточку возгордился, что догадался об их замысле и баньку взогрел предварительно.

Благодатно истязал себя и казнил березовым веником он в баньке долго. Лежал и на нижней полочке, и на верхней, испытывал тело — выдержит, не выдержит? И, слава Богу, оно выдерживало, хотя сердце, конечно, и начинало предупреждающе частить. Тогда Никита Иванович проворно бежал в предбанник, окатывался студеной водой, которая была заготовлена у Василия во флягах и выварках. Сердце сразу утишалось, добрело и приходило в норму.

Но пора было и честь знать! Работе, как говорится, время, а потехе — час. В последний раз окунувшись поочередно в горячую и холодную воду, Никита Иванович сухо-насухо вытерся мохнатым полотенцем-рушником, неспешно облачился в чистую исподнюю и верхнюю одежду и вышел на свежий воздух. И, Боже ж ты мой, каким добрым, непревзойденным молодцем себя Никита Иванович почувствовал! Будто двадцать, тридцать, а то и вообще бесчисленное число лет свалилось с его плеч.

Никита Иванович присел на лавочке, что была устроена в тени подле баньки и, не сдерживаясь, залюбовался всем окрестным широким миром. Ураганный, порывистый ветер к вечеру притих, утомился. За огородами, далеко в лугах начинал подниматься августовский, кажись, первый в этом году туман. Он скрадывал речку, лозовые негусто раскинутые по ее берегам кусты, половинил, подрезал надвое тучные стога, укрывал лошадиный примчавшийся в ночное табунок. А здесь, на огороде, возле дома было еще светло и прозрачно. В саду давали о себе знать на разные голоса птицы: чирикали, собираясь стайками, беспokoйные воробьи, цвенькали синички, стрекотали сороки, стремительно носились в небе высоко ласточки. Все жило, торжествовало и побуждало жить!

Никита Иванович сидел на лавочке, расправив плечи, победно вскинув голову (совсем не так, как в последние времена на унылой подзаборной лавочке), дышал глубоко и свободно, казалось, в две необъемные груди и никак не мог надышаться предвечерним прохладно-бодрящим воздухом, никак не мог налюбоваться и начувствоваться окрестным беспредельным миром: и пропадающей в тумане рекой, и склонившимся почти до самого низа, до горизонта заходящим солнцем, и отяжелевшего яблоками, грушами и сливами сада, не мог послушаться пения и щебетания вольных поднебесных птиц-пташек.

Так бы и сидел здесь всю ночь, сроднясь навечно с этим волшебным миром, сидел бы и до первой, и до второй, и до третьей звезды, а потом и до раннепробудного восхода солнца, чтоб опять взяться за работу, за топор, лопату или мастерок-кельму, по которым так истосковалась душа Никиты Ивановича.

И вдруг он почувствовал, что чего-то ему не хватает, самое чуть-чуть, но не хватает для полного завершения и торжества нынешнего, такого удачливого во всем дня. От изумления Никита Иванович даже приподнялся с лавочки и заоглядывался по сторонам, словно ожидая, что кто-нибудь посторонний подскажет ему, в чем тут дело, в чем причина и задача. Никита Иванович отыскал прислоненный к дверному косяку посошок, взмахнул им, играючись и дивясь, какой тот малый, неказистый и совершенно ненужный ему, возродившемуся из полного почти праха и забвения. Но понапрасну так подумал он о старом своем верном товарище. Посошок нежданно-негаданно взял да и сослужил Никите Ивановичу неоценимую службу. Рассекая предвечерний настоянный на садовом-цветочном запахе воздух, он весело шепнул своему хозяину: «Да что ж тут думать и гадать, сам Суворов говаривал: после бани крест продай, а выпей!»

Никита Иванович в голос рассмеялся своевременно-дельной подсказке посошка-товарища. Действительно — это уж надо распоследним человеком себя осознавать, чтоб после таких работ, которые счастливо выпали сегодня Никите Ивановичу, да после такой знатной бани не выпить, не подвести со всем достоинством черту великому дню.

Оно, конечно, надо бы подождать, пока вернутся из гостей Василий с Наташей, обустроят хозяйство, попарятся, помоются, и потом уже засесть за вечерний праздничный стол общца, всем семейством. Но есть у Никиты Ивановича опасения (ох, есть!), что и Наташа, и Василий предостерегут его от заветной рюмочки. Скажут, не надо бы в твоём возрасте и здоровье приловчатся к ней. А Никите Ивановичу охота, так охота, как никогда, может, и не было в прежние лета и годы. Здоровье у него неважное, тут чего скрывать, но коль он выдержал нынче работную повинность,

то уж рюмочку-другую выдержит и ничего с ним не станется. По заслугам и честь!

Медлить со своим замыслом Никита Иванович не стал. Промедлишь, рассидишься, млея, на лавочке, а Василий с Наташей тем временем и возвратятся — и все сорвется, разрушится. Он подбросил в банную печурку охапку дров, чтоб они там потихоньку воспламенялись и не давали охолонуть котлу, держали в хорошем накале воду для хозяина и хозяйки. Подождав пару минут, пока дрова займутся на углях, Никита Иванович направился в дом в веселом предвкушении праздничной вечерней трапезы. Но прежде, чем подняться на крылечко, он свернул к уличной калитке и снял ее со щеколды на тот случай, если вдруг засидится в застолье и не заметит, как корова Зорянка припожалует с пастбища. Ветра к вечеру нету, полный штиль и безмолвие, никакого побоя-хлопанья вроде бы не предвидится, так что пусть калитка пребывает незапертой. Зорянка толкнет ее и проследует к водопойной бочке, а уж во дворе Никита Иванович ее заметит и перепроводит в сарай.

Стол-трапезу Никита Иванович решил накрыть себе не на кухоньке, а в комнате-горнице, где в праздники и торжества он всегда и накрывался. Никита Иванович достал из шифоньера чистую скатерку, распустил пегухами и прочими птицами, хранящимися среди цветов и трав, раскинул ее по столу, разровнял, разгладил все до единой складочки, чтоб на них случайно не опрокинулась какая-нибудь тарелка-миска или налитая всклень рюмка.

Еда в праздник должна быть горячей и обильной. Первым делом, понятно, закуски, которых у Наташи в холодильнике всегда вдосталь. Никита Иванович и принялся со всем умением, на которое только был способен, выставлять их одну за другой, на мелких блюдечках, продолговатых хитроумных селедочниках, в баночках разных размеров и калибров. Всего обнаружилось в достатке: нарезанное крупными ломтями сало (Никита Иванович всегда любил, когда сало нарезано крупно, чтоб можно было основательно почувствовать его природный вкус и сытость), селедочка, заправленная подсолнечным маслом и украшенная сверху колечками репчатого лука, малосольные, нарезанные продольно огурчики (Никита Иванович, опять-таки, любит, предпочитает, чтоб огурчики были нарезаны продоль, а не поперек — малыми кружками, — Наташа это знает), маринованные грибы-опята в пузатой баночке, ну и всякие там приправы: горчица, хрен с добавкой свекольного рассола, перец — душистый и горький. Обнаружились еще в холодильнике колбаса и голландский сыр. Но Никита Иванович решительно отверг городские эти приготвления. Ему захотелось, чтоб на столе было все свое, домашнее, выращенное и взлелеянное своими руками. Почему нашла на Никиту Ивановича такая стезя, он толком объяснить и не мог. Но вот же нашла, обуяла, и Никита Иванович всецело подчинился ей.

Когда закуски были расставлены согласно порядка и ранжира, Никита Иванович проследовал на кухню и стал с двойным и тройным бережением доставать из печи ухватом черепяной горшок с борщом — главной и неперменной едой на любом крестьянском празднике.

Ах, какие борщи умела варить покойная Дарья Михайловна, и какие варит нынче Наташа! Всего в них в меру и досталь: молодой, нынешнего урожая капусты-скороспелки, свеклы, моркови, молодой же картошки, стручкового горького и болгарского сладкого перца, укропа, петрушки и еще чего-то, может, вовсе и неведомого Никите Ивановичу. Когда запра-

весь борщ сметаною и, предварительнo откусив ползубочка припорошенного солью чеснока, еще только склонившись над мискою, еще только вдохнешь пленяющий голову запах — так хоть выпей этот борщ безотрывно, набегом, как у них говорят, столь сладок он и столь сытен.

Борщ в печи к вечеру заметно приостыл, и Никита Иванович прежде, чем подать его на стол, подогрел в высокой кастрюльке на электрической, с двумя похожими на скрученные колечками змейки-медянки, спиральями. Это делать Никита Иванович умел. Наташа научила его включать-выключать плитку на тот случай, если он вдруг, вот как нынче, останется дома на хозяйстве один, так чтоб по желанию мог подогреть себе чего-нибудь горяченького, для старого человека всегда необходимого.

Пока же борщ томился, созрел в кастрюльке, Никита Иванович водрузил на стол ложку и рюмку, добыв их из кухонного со стеклянной дверцей буфета. Ложка и рюмка у Никиты Ивановича были свои, отдельные, считай, именные. Ложка еще фронтoвая, солдатская, прошедшая с ним все огни и воды, и медные трубы. Никита Иванович до сих пор помнит, как в самые начальные месяцы войны они с другом-товарищем по взводу Иваном Кузьмичом изготовили ее, вылили из какого-то подручного алюминия металл по образцу обыкновенной деревянной ложки. Иван Кузьмич, в довоенной своей жизни — сельский кузнец, был по этой части большим мастером и искусником. Ложка получилась на загляденье: в черпачке глубоконокья, объемистая, в черенке-ручке недлинная, с маленьким шариком-бурулькой на кончике. А уж какая ухватистая и ловкая, тут и вообще говорить нечего! Есть ею из котелка что солдатский борщ, что кашу было одно удовольствие — споро и до самого доньшка. Фронтoвую эту ложечку-черпачок Никита Иванович тщательно берег и на войне в боях-отступлениях-наступлениях, в долговременной обороне, в лазаретах и госпиталях, и еще пуще в мирной жизни как память о той далекой войне и о своем старшем друге Иване Кузьмиче, который, едва успев одарить Никиту Ивановича столь бесценным подарком, вскорости и погиб.

Рюмочка на упрямой опорной ножке тоже очень памятна и дорога Никите Ивановичу — отцовская, а может, еще и дедовская. От них она и перешла ему в наследство, как не беречь ее, как не гордиться ею?! Стекла она, конечно, самого незавидного, простого, но как умеренно, всего в пятьдесят граммов, сделана, с какими тонкими отливающими хоть при солнечном ярком свете, хоть при свете керосиновой лампы-восьмерика гранями. Выпьешь из нее под хорошее заздравное слово-пожелание всю до дна водку или настойку-наливку и не столько от этой водки-настойки захмелеешь, сколько придешь в высшее торжество и легкость души от самого вида чудодейной рюмочки-стопки. Никита Иванович ни за что ни про что не променяет ее ни на какие заморские хрустала.

Подогретый, исходящей дымным паром борщ Никита Иванович перелил из кастрюльки в черепаную гончарную миску и поставил на скатерти промеж ложки и рюмки. Милости просим, дорогой гость и работник, к столу!

Можно было садиться и трапезничать. Но тут вышла у Никиты Ивановича незадача с водкой-настойкой. Все в том же застекленном кухонном шкафчике-серванте хранились у Василия с Наташей и чистая белоголовая водка, и настойка на разных травах: на зверобое, душице, на чаге, на корне-калгане, была и вишневая наливка, и несколько сортов вина. Никита Иванович даже растерялся маленько — на чем сосредоточиться, на чем остановиться?!

Он дотошно перебрал бутылки, взглядел на свет, а те, которые были откупорены, так даже понюхал сквозь узкие горлышки и все одобрил, ни единой не забраковал. Василий с Наташей чего зря в буфете хранить не будут. Но в конце концов остановился Никита Иванович все же на белоголовой, чисто-прозрачной, как слеза, водке. Фронтвые, наркомовские сто граммов настойкой-наливкой или сладеньким винцом никогда не выдавали. Там всегда спирт был, напиток честный, солдатский, без всяких посторонних подозрительных примесей. Если бы он и сейчас имелся в буфете, то Никита Иванович, не раздумывая, отдал бы предпочтению, несомненно, спирту, вспомнил бы во всех подробностях фронтвые те годы, коль нашла на него такая минута. Но спирта в буфете как раз и не обнаружилось, он теперь лишь в медицинских лекарственных целях употребляется, все-таки время мирное, спокойное. Заменой же спирту для бывшего солдата может быть только сорокаградусная водка! Она, понятно, послабее спирта, так ведь и сам солдат нынче ослабел, притомился на жизненной дороге.

Никита Иванович выудил из буфета высокорослую непочатую бутылку водки и заторопился было к столу, к томящейся и требующей полного его внимания и почта скатерти-самобранке, но в последнее мгновение вдруг умерил шаг и загорелся новым, совсем уж неожиданным-негаданным желанием. На верхней полочке он заметил тоже старинный, памятный Никите Ивановичу с детства графинчик, в тельце приземистый, бокастый, а в горлышке удлиненный, будто лебединая шейка, увенчанная царственной пробочкой-коронай. Если приглядеться повнимательней, то графинчик и вправду похож на птицу-лебедя, того и гляди, поднимется на крыло и улетит за моря и океаны. Покойный отец всегда любил, чтоб водка на столе стояла именно в этом лебедином графинчике, а не в обыкновенной раскошей бутылке. В графинчике как-то оно праздничней получается, задушевней. У Никиты же Ивановича сегодня праздник если не пер-вопрестольный, то двенадцатый — завершение трудового, рабочего дня — и отступать ему от отцовских заветов в такой день негоже.

Откупорив бутылку, Никита Иванович перелил водку в графинчик, но сразу на стол не понес, а полюбовался, порадовался им, проглядел на свет-солнце и воочию заметил на его доньшке, на боках и на шейке (а на пробочке-короне так и особенно) хрустальные искорки-лучики. Когда же после минутной этой игры воображения Никита Иванович водрузил графинчик в самом центре скатерти-самобранки, то праздничный его стол обрел надежащее завершение, возвысился и возвеличился до самого высокого торжества и предела.

Чуть подрагивающей от волнения рукой Никита Иванович наполнил первую, починную рюмочку. Пить ее полагалось стоя и не в унылом молчании, а произнеся приличные к случаю слова-пожелания. Уняв в руке беспокойство, Никита Иванович поднялся, вскинул рюмочку до уровня груди и сердца, минуту-мгновение поколебался и вдруг сказал, глядя в прозрачно-чистое окошко, где виднелся краешек улицы, а за ней огорды, луга, и дальний предосенний березняк:

— Ну, за все хорошее!

— За все хорошее! — согласно ответили ему деревенская улица, луга-огороды, березняк и мелькнувшая за ним излучина реки.

Никита Иванович еще выше поднял стопочку и выпил ее всю до дна с таким торжеством и вдохновением, с каким не пил, наверное, с фронтвого победного дня.

Горячая, жаркая волна охватила все его тело и замерла где-то под сердцем. Никита Иванович даже чуть-чуть заробел, приладил стопочку к графину и принялся гасить накатную эту волну учащенным глубоким дыханием. И она, подержав сердце еще несколько секунд в напряжении, отступила, ушла невидимо в землю.

Закусывал Никита Иванович первую починную рюмочку основательно и прочно. Вначале, словно устраивая, умащивая оденок, отведал всего понемножку, по щепотке: и огурчиков, и грибков, и сальца с красной прожилочкой-прорезью, и селедочки, а потом принялся за борщ, который был и действительно таким, что хоть выпей его и еще побрей полмисочки, а то и полную миску добавки. Фронтная ложечка-черпачок так и мелькала в руке у Никиты Ивановича, удивляясь ненасытности знатного едока.

Опамятовался Никита Иванович, пришел в себя лишь после того, как ложка гулко застучала по пустому черепаному доньшку, где не обнаружилось уже ни единой прожилочки капусты, ни единой дольки перца, ни единого кружочка-скриглычка морковки, свеклы или молодой разваристой картошки. Не было даже юшки! Уж точно едок, так едок! Все подмел подчистую! Осилит бы, поди, и добавку! Но, во-первых, не один Никита Иванович в доме обитатель, есть еще и другие едоки, законные домовые хозяева — Василий с Наташей. Приедут они из города, попарятся-помоются в баньке и, гостевали не гостевали, а захочется им в родном, родительском доме поужинать, устроить праздничную вечерю. Борщ им в таком случае самая основная закуска, особенно, если после рюмочки водки-наливки. А во-вторых, в печи упревает в пузатеньком горшочке-макотерке под тщательно прикрытой крышкой тушеная с мясом-поребриной картошка. (Никита Иванович доподлинно разведал о том, добывая борщ). Тоже любимая из любимых еда Никиты Ивановича. Наташа, словно заранее зная, какой выпадет сегодня у него день и какой праздник, специально изготавила ее, чтоб порадовать и удивить Никиту Ивановича.

Подогреть картошку на электрической плитке он погодил. Никите Ивановичу как раз нравилось, чтоб она не была чрезмерно горячей, а лишь томной и ноздревато-разваристой. К вечеру в горшочке, огорнутом в березовые угли и пепел, картошечка и дозревает до полного своего навару и вкуса. Зачерпнешь ее ложкой (лучше бы всего прямо из горшочка), и она тает во рту от одного только грудного твоего дыхания.

Никита Иванович соблазнился на эту затею и выставил картошку на скатерть-самобранку в первозданном ее, нетронутом виде — в прокаленном, испытанном тысячеградусными огнями горшочке-макотерке.

Под картошку полагалась вторая, легкая уже стопочка. Никита Иванович налил ее, опять поднялся над столом, опять глянул в окошко и опять сказал просто и обыкновенно всему окрестному миру и населяющим его людям:

— Будьте здоровы и счастливы!

— И ты, Никита Иванович, будь здоров и счастлив! Живи долго! — ответил ему отзывчивый окрестный мир.

От взаимной этой доверчивой переклички на душе у Никиты Ивановича сделалось хорошо и радостно. Он пододвинул к себе поближе горшочек, обхватил его для устойчивости рукой и съел ноздревато-томной картошки, считай, четверть посуды, как и полагается достойному работнику, столяру-печнику и косарю-пахарю. В прикуску с малосольным



огурчиком она пошла вдогонку за борщом так споро, что Никита Иванович едва умерил себя.

Третья стопочка всегда была у Никиты Ивановича особой, несуетной и скорбной. Поминальной стопочкой, как у всякого христианского, православного человека. Не отступил он от давнего этого обычая и нынче. Отклонив в сторону, в отдаление праздник, Никита Иванович не глядел теперь в окошко, где играло, доигрывало прожитый день низкое уже, закатное солнце, а обронил седую голову на грудь и вспомнил всех убиенных, погибших на войне друзей-товарищей, отца, братьев, Степана и Ваню, наставника своего в ратном тяжком деле Ивана Кузьмича; вспомнил, обнимая в памяти за плечи давно умершую мать и недавно оставившую Никиту Ивановича в одиночестве Дарью Михайловну. Никаких посторонних слов тут говорить не требовалось, они в древние еще, невидимые времена были придуманы живыми людьми для умерших: «Пусть им там легко лежится!»

Никита Иванович так и сказал, повторил, почти не размыкая уст, утешительные эти слова и словно воочию повидался с родными ему, незабвенными людьми.

Выпил Никита Иванович поминальную стопочку скорбя, но одновременно и светлея душой, как всегда случается и должно случаться с православным человеком в минуты памяти, где бы они его ни настигали: в трудовой, неустанной работе, в церковном храме или вот, как нынче у Никиты Ивановича, за праздничным столом.

Долго он потом сидел в молчании и тишине, не смея нарушить эту минуту ни единым движением, ни единым вздохом. И может быть, сидел бы так до самого приезда Василия с Наташей, но вдруг возле окна стали виться и щебетать ласточки. За резным наличником у них было устроено глинобитное родовое гнездо. Днем, спасаясь от жары, ласточки по большей части отсиживаются там, изредка лишь взмывая в небо, а к вечеру выпархивают всем семейством (ласточки, известное дело, птицы утренние и вечерние) и устраивают такие игры-забавы и такое щебетание, что, кажется, сам бы поднялся на крыло, лишь бы быть с ними вместе. Особенно волнуются молодые, нынешнего года рождения ласточки, которым предстоит вскорости прощаться с родным своим, родительским гнездом и впервые в жизни улетать в далекие заморские страны.

Никита Иванович невольно залюбовался стремительными полетами ласточек, заслушался их щебетанием-разговором и не заметил, как опять вернулся в прерванный свой праздник. Отошедшие раньше Никиты Ивановича на вечный покой люди простят его за это без всякого укора и обиды. Не зря ведь сказано: живым живое и сущее! На душе у Никиты Ивановича, словно после темной ночи, наступило раннее светлое утро, и он вдруг подумал, а как бы здорово и хорошо было устроить-сыграть сейчас за праздничным столом песню.

В старые, довоенные времена главным запевалой-певцом был у них отец. Едва выпив рюмочку, он начинал петь высоким и сильным голосом памятные ему песни: то веселые и игривые, про любовь и свидания, то печально-кручинные, про разлуку и расставание на долгие годы. На срочной службе еще в царской армии отца за это, говорят, очень любили и рядовые солдаты, и господа офицеры.

Мать тоже была певуньей, но голосом послабее отца, чего, кажется, даже немного по-женски стеснялась и каждый раз, вступая вслед за ним в песню, заметно робела, словно боясь, что песню эту испортит. А вот

Никите Ивановичу Бог голоса не дал: не перенял он его ни от отца, ни от матери и всегда сидел за столом тихо и безмолвно, слушал и никак не мог послушаться, как родители поют-играют песню, дополняя друг друга и сливаясь в одну-единую душу.

Голос и пристрастие к пению перешли от отца и матери младшим братьям Никиты Ивановича, и особенно к Ване. Чуть повзрослев и поднявшись в возрасте, они любую песню вели вслед за отцом и матерью безошибочно и верно в каждом слове и звуке. Жаль, как жаль, что Степан и Ваня погибли так недопустимо рано и не успели встать на зрелые мужские голоса. А то бы они и сейчас могли порадовать старшего своего молчаливого брата застольной праздничной песней. Пение у них в доме возникло лишь после войны, когда Никита Иванович, вернувшись с фронта, женился на Дарье Михайловне, на Даше. Она оказалась певуньей и мастерицей в песенном деле. Бывало, и в праздничный день, и в будний сядут они рядком с матерью и поют на два звонких голоса. Никита Иванович чутко внимает им, а сам нет-нет да и подумает: вот что война-погибель наделала: по всей округе, да поди и по всей державе-России в каждом доме одно только женское безысходное пение. Мужской голос редко где отзовется. Война повыбила их до основания.

Никита Иванович еще немного посидел за столом, внимательно прислушиваясь к любому звуку на улице — не едут ли, не возвращаются ли Василий с Наташей? А потом решил больше не томить себя (приедут, куда ж они денутся, загостились у родных детей и внуков — дело знакомое), убрать со стола, да и прилечь на полчаса в махонькой своей комнатке-светелке с ясным окошком во двор. Теперь вроде бы уже и можно: зачинать какую-либо новую работу в предвечерье поздно, только разгонишься, а, вот она, уже и темнота, ночь, солнце скроется в лугах за горизонтом, и работу, затеянную в спешке, все равно придется бросать.

Со стола Никита Иванович убрал все честь по чести, чтоб Наташа на него после не осерчала. Закуски он спрятал назад в холодильник, а горшок с картошкой притулил в печи за заслонкой, пусть потомится — ему не помешает. Графинчик Никита Иванович определил в сервант, скатерку аккуратно вытряхнул во дворе, посуду перемыл и протер до полной сухости кухонным полотенцем. С детства Никита Иванович приучился во всем держать порядок и чистоту: хоть на рабочем своем месте, на столярном верстаке в повети, хоть при кирпичной кладке печи-лежанки, хоть за праздничным столом. Закончил, свершил дело, отвел душу в веселье, песнях и плясках, будь добр, убери все после себя. В крестьянской жизни прислуги нету.

Когда все встало и легло на свои места, Никита Иванович прошелся венничком вокруг стола, подобрал с пола в совочек случайно оброненные крошки, потом тщательно помыл под рукомойником руки, расчесал перед зеркалом на проборок пепельно-седые волосы и проследовал в свою светелку. Но на самом последнем шаге, уже держась за дверную ручку, он внимательно оглянулся, чтоб еще раз удостовериться, все ли в горнице хорошо и ладно — и вдруг взгляд Никиты Ивановича упал на телевизор, что примостился на тумбочке в простенке между двух окон. И даже не столько на сам телевизор, сколько на обыкновенную школьную тетрадку, поверх которой лежала пластмассовая самописная ручка. Из этой тетрадки Василий и Наташа вырывают листочек-другой и пишут письма своим братьям-сестрам, детям и внукам, иным дальним и ближним сродственникам или просто хорошим друзьям-знакомым, живущим в недосягаемых городах и селах.

Никита Иванович отпрянул от двери, подошел к тумбочке и любопытства ради взял в руки вначале увертливую, скользкую ручку, а вслед за ней и школьную в широкую разгонистую линейку тетрадь. Никаких определенных намерений у него насчет них вроде бы не было — взял да и взял, охота посмотреть, какие нынче тетради и ручки.

Признаться по правде, ручка ему не понравилась; мало того, что скользкая и увертливая, так еще и без видимого расщепленного на излете надвое перышка. Вместо него был пристроен на кончике пластмассового тоненького стерженька шарик величиной с просяное зернышко. Чернильницы, хоть проливайки, хоть непроливайки при таком хитроумном изобретении не требовалось. Чернила прятались в стерженьке, заточенные туда неведомо каким образом. По разумению Никиты Ивановича такой ручкой ничего путного каллиграфического не напишешь: ни нажима тебе, ни наклона.

А вот тетрадка — совсем иное дело! Тетрадка Никите Ивановичу очень даже приглянулась. Бумага в ней белая, лощеная, линейки расчерчены голубенькой отчетливо видимой краской. Тут уж хочешь, не хочешь, а рука сама потянется, чтоб написать на этой высокого сорта бумаге какое-либо письмо-послание.

И Никита Иванович неожиданно загорелся. А чего бы действительно не написать и ему в приподнятом сегодняшнем настроении письмецо родственникам, к примеру, младшим своим детям, сыну Ивану и дочери Даше или кому-нибудь из давних друзей-фронтовиков. Очень даже хорошо было бы и верно написать.

Никита Иванович присел на стуле и принялся обдумывать, о чем бы таком важном сообщить им, какими известиями порадовать. Но вдруг вовремя остановился в своих задумках, вспомнил, что друзьям-фронтовикам написать теперь письмецо нет у него никакой возможности: все они, опережая его, разминулись с жизнью и ушли на вечный солдатский покой (а лет двадцать тому назад, случалось, взаимно откликались еще, если не письмо, то открыточку ко Дню Победы друг другу посылали). Никита Иванович, похоже, на сегодняшний час остался последним из них.

Насчет письма Ивану и Даше у Никиты Ивановича тоже ничего не получалось. Ведь совсем недавно, кажись, всего два-три дня тому назад Наташа отписывала им письма, передавала от Никиты Ивановича поклоны, а Василий отвозил те письма и поклоны в город на почту. Это — во-первых! А во-вторых, для письма Ване и Даше Никите Ивановичу потребуются конверты и почтовые марки, которых у него под рукой нету. Потребуется и точный адрес каждого, с наименованием улицы, номера дома и квартиры. В каких городах и весях живут Ваня с Дашей Никита Иванович, понятно, знает, не раз и бывал у них в прежние годы (случись и сейчас быть, так нашел бы с закрытыми глазами), а вот точные номерные адреса их в памяти стерлись. У Василия с Наташей адреса эти где-то записаны, но рыться в чужих бумагах и документах Никита Иванович не смеет — не приучен к тому с детства. Да оно, если рассудить по-умному, то с письмами его к Ване и Даше как-то и не совсем хорошо получится, обидно для Василия и Наташи. Что ж это ты, отец, посетуют они, не доверяешь нам, что ли, или секреты какие имеешь, что надумал отдельно писать письма Ване и Даше?! Нет, так в семейной жизни не годится, разлад может произойти, доверие потеряется.

Никита Иванович посидел еще немного на стуле, завистливо полистал

тетрадку от лицевой обложки и хотел уже было возвратить ее назад к телевизору, но вдруг пришла ему в голову совсем простая, обыкновенная мысль. А чего бы не написать Никите Ивановичу отцовское, родительское письмоцо Василию с Наташей?! Тут и хорошо получится, и ко времени. Вот приедут они из города, войдут в дом, а на столе лежит письмо-послание, которое всегда в радость и ожидание...

Мысль эта очень даже глянулась Никите Ивановичу, и он немедленно принял ее исполнять.

Листочек (вернее, два) Никита Иванович вознамерился поначалу изъять из середины тетрадки, осторожно, чтоб не сломалась, подковырнув скрепку. Но потом он обнаружил, что в тетрадке имеется одиночный, непарный листочек, бережливо оставленный там Василием или Наташей, и удовольствовался им. Подобные одиночные листочки, помнится, на фронте выдавали красноармейцам для писем политруки. Разнились они от нынешнего лишь сортом бумаги (откуда в военное время было набраться лощеной, изысканной?!), да еще тем, что на лицевой стороне в левом верхнем уголке всегда воодушевляла глаз картинка: солдат-пехотинец, артиллерист или летчик, или изображение Верховного главнокомандующего товарища Сталина. Под картинками-изображениями крупно были пропечатаны призывы всеми силами и возможностями громить ненавистного врага, а иногда для пущей убедительности пропечатывались еще и шрифтом помельче стишки:

Победа над лютым врагом близка.  
Чтоб светлые дни настали,  
«Вперед!» — говорит нам родная страна,  
«Вперед!» — приказал нам Сталин!

Было и третье небольшое, но вполне определенное и необходимое отличие. Самая нижняя линейка шла пунктиром, оставляя в два пальца шириной чистое поле, которое всегда требовалось для преобразования уже готового письма в солдатский треугольничек.

Пристроился Никита Иванович сочинять письмо на подоконнике, поближе к свету. Как-то уютней и раздумчивей было сочинять его на укромном подоконнике, а не на широком полированном столе (куда твоя бухгалтерия!). На фронте тоже редко когда доводилось писать солдату письма за широким ученым столом. Приладишься где-либо в окопчике, в траншее или, если случится в боях затишье, на свежем воздухе под соной-березой, положишь на колени саперную лопатку — и вот он, стол со столешницей.

Для лучшей видимости и прозрачности Никита Иванович тщательно протер специальной фланелькой крупнокалиберные с цепкими дужками очки, недавно подаренные ему вместе с футляром Наташей (там протирочная эта фланелька и хранилась), твердо зажал в пальцах самописную ручку, вскинул ее над листочком, намереваясь написать первые приветственные слова. И ничего не написал. Он поворачивал ручку и так, и этак, а все равно ничего не писалось и не придумывалось. Не лежала к этой ручке у Никиты Ивановича душа — и все тут! И вообще, ни к какой иной ручке не лежала, хоть самой разнеможной, со стальным или золоченым пером. Ну, скажите на милость, какой солдат на фронте писал письма ручкой. Где ему было доставать в боевой обстановке и саму ручку, и перо, и чернила?! Они имелись разве что у писаря. Но если писарь будет давать их, одалживать каждому бойцу, то никаких запасов не хва-

тит. Одних чернил за день израсходуется литра два, не меньше, не говоря уже про перья и промокашки.

Карандашом солдатские письма писались — вот чем! Лучше бы, конечно, химическим. Послунявил его или подставил под дождевую каплю — и он сразу проявится на бумаге фиолетовыми плотными чернилами. На случай письма карандаш (пусть даже самый малый, всего лишь кончик его, огрызок) всегда хранился в кармане гимнастерки или в портсигаре-кисете. Саперу же, плотнику карандаш был вдвойне необходим. Он прививался к шанцевому инструменту: топору, пиле, метру-складеньку. Без карандаша плотник ни на шаг, он постоянно должен быть под рукой: разметку сделать, цифру нужную записать или даже чертежик будущего сооружения начертить. Никита Иванович был солдатом рачительным и ответственным, карандаш (а иногда так и не один) у него обязательно имелся.

От такого теплого воспоминания Никита Иванович приободрился. Пластмассовую шариковую ручку вернул на тумбочку и принялся искать в доме карандаш. Но он что-то никак не находился: то ли все карандаши у Василия и Наташи вышли, то ли хранились где-то в особом, непредвиденном месте, у которого Никита Иванович и догадаться не мог. Тогда он, оставив на время листочек созреть для письма на подоконнике, откомандировался в поветь за плотницким и столярным карандашом, которым сегодня поутру работал и который положил в кузовок верстака, где тот никак не мог затеряться.

Так оно и вышло: карандаш пребывал в уголке кузовка и, казалось, сам просился в руку, для начертания букв и словес. Да какой ладный и основательный карандаш! По внешнему цвету красный, издали видный, сделанный в шесть граней, чтоб не скользил и не изворачивался в пальцах, и, главное, твердый грифельком (мягким грифельком столяру-плотнику не работа — быстро расходуется, крошится и черту ведет чрезмерно жирную). Таким карандашом при умной голове не то что обыкновенное солдатское письмо написать можно, а даже целую книгу-роман сочинить или картину в полстены размером нарисовать. Никита Иванович управлялся им сегодня в свое удовольствие и ни разу не ошибся в размерах, ни одну черту не скривил. После работы, правда, забыл в спешке заново подточить. Но это дело легко поправимое.

Никита Иванович взял за обушок топор и, как всегда это и делал во время плотнико-столярной страды, начал затачивать карандаш под тупым стойким углом, так, чтоб грифель выглядывал из-под облатки всего миллиметра на полтора-два, не больше. Затачивать карандаш под острым углом, далеко выпуская вперед грифель, ни плотнику, ни столяру не годится. Сколь бережно ни обращайся с ним, а все равно длинноносый этот грифель обязательно обломится.

Искусством своим Никита Иванович остался доволен: карандаш сразу приосанился, приободрился, готовый к любым новым начертательным испытаниям, но Никита Иванович для верности (все-таки письменна-скрижали писать собрался, а не одни только метки-черточки ставить) подправил его по-столярному на рубанке. Перевернул рубанок подошвою вверх и на остром лезвии подшлифовал грифель, снял с него едва приметные посторонние уголки и крошки.

По привычке Никита Иванович приладил карандаш за ухом и затопился в дом к подоконнику, где письменный листочек поди уже и задался. Но во дворе случилась у Никиты Ивановича небольшая задерж-

ка. Банька едва курилась сизым дымком, и он наскоро сбежал к ней, подбросил в печку полешек пять-шесть, выбирая которые посучковатей и покряжистей, чтоб подольше горели и не позволили баньке охолонуть к приезду Василия и Наташи.

С карандашом письменное дело у Никиты Ивановича вмиг заладилось и заспорилось. Он с ходу, едва успев присесть на стуле возле подоконника и склониться над листочком, вывел отдельной строчкой приветственные уважительные слова, как писал их когда-то с фронта матери — разница была лишь в обращении:

*«Здравствуйте, дорогие Василий и Наташа!»*

Но потом у Никиты Ивановича все вдруг опять застопорилось. О чем писать дальше, он никак не мог придумать и сообразить. Живут Василий и Наташа в одном доме с ним, в одном подворье, и все, что творится, происходит в их хозяйстве, случается в жизни, знают полней и лучше, чем Никита Иванович. Известна, видна, как на ладони, Василию и Наташе и вся его без остатка судьба-кручина: как он, стена и кряхтя, поднимается утром, с трудом и натугой завтракает и идет на подзаборную лавочку коротать бесконечно длинный день. Вот разве что написать им о том, как, сидя на этой лавочке, Никита Иванович предается мыслям-воспоминаниям, да печалится по Дарье Михайловне, которая неосмотрительно оставила его одного, а не забрала в дальнюю дорогу с собой. Но подобные скрижали поди Василию и Наташе будут и огорчительны. Скажут, старый человек, древний, словам своим отчета не дает.

Вовремя опомнившись от необдуманного этого намерения, Никита Иванович стал глядеть в окошко на вечернюю, отдыхающую от трудового дня улицу, на огороды, усеянные то там, то здесь копешками ржи, на луг-пастольник и на березняк, заметно взявшийся уже первой осенней позолотой. Все готовилось к ночи, к покою и сну, подчиняясь раз и навсегда установленному порядку жизни. Пора было готовиться и Никите Ивановичу. На полную ночь, конечно, еще рано, еще не подоспел срок, а вот передохнуть до приезда Василия и Наташи полчаса можно.

И только он подумал об этом, как вдруг все вернее-верного слова нашлись у него сами по себе. Чего тут долго размышлять и сомневаться?! Или и вправду совсем уже старым и неповоротливым умом сделался?! Чтоб не растерять счастливо обретенные слова, Никита Иванович, ни секунды не медля, начал старательно, большими буквами, с правильным наклоном в правую сторону начертать их на листочке. И получилось все хорошо и необходимо:

*«Я все по мере возможности сделал и лег отдыхать».*

Потом Никита Иванович немного подумал, перечитал написанное и добавил еще несколько слов, без которых письмо было вроде бы как незаконченным, оборванным посередине:

*«Низкий поклон всем родным и близким, всем сродственникам и знакомым.*

*Ваш отец Никита Иванович».*

Так он, помнится, заканчивал фронтовые свои не очень частые письма, опять с той лишь разницей, что тогда писал не «отец», а «Ваш сын Никита».

Трепетный, чутко шуршащий в пальцах листочек Никита Иванович

подержал пару минут на весу, словно боясь и жалея с ним расставаться, а потом сложил в аккуратный солдатский треугольничек, не требующий никакой почтовой марки. Оказывается, ничего не забылось у Никиты Ивановича в этом умении: заскоруждые его изработавшиеся руки сами по себе нашли нужные движения и сгибы. Никита Иванович не успел перевести дыхания, как вот он перед ним: солдатский, многими теперь уже забытый треугольничек. Осталось только написать на нем адрес, чтоб треугольничек знал, куда лететь и куда стремиться по родной, разоренной до основания земле. Никита Иванович опять склонился над ним и, твердо придерживая за кончик, приготовился писать подробный свой домашний адрес особо крупными печатными буквами, чтоб почтальоны и письmonoши, не дай Бог, чего не перепутали и не отправили его совсем в иную сторону. Но на первой же букве Никита Иванович осекся и подивился своей забывчивости: подробного адреса тут не требуется. Письмо нигде путешествовать и не будет, а останется пребывать дома и в ближайшие часы попадет из рук в руки, от Никиты Ивановича к Василию и Наташе. Стараясь нигде не выйти за пределы голубенькой черты-линейки, Никита Иванович так и написал стройными печатными буквами, да еще для верности и обвел их карандашом дважды:

### «ВАСИЛИЮ И НАТАШЕ»

Готовое, завершенное письмо он приладил на самом видном месте в горнице — на полированном, зеркальном столе подле вазочки с цветами-астрами, которые убирал на время трапезы. Треугольничек, прислоненный к ней, встал под ярко-синими, красными и дымчато-белыми цветами незыблемо (куда твой почтовый голубь!) и не потерялся среди них, а смотрелся глазасто и требовал немедленного прочтения. Пройти мимо него было никак нельзя.

Никита Иванович не выдержал и издалека, от двери своей светелки полюбовался им, его соразмерными гранями, острыми уголками, четкими, стоящими навтытяжку буквами. И надо же, что почудилось Никите Ивановичу от внимательного такого досмотра! Вверху, чуть справа, сразу над адресом воочью промелькнул солдатский почтовый штемпель, а уголки и грани показались Никите Ивановичу чуточку примятыми и пригупленными, как будто проделали долгий путь с войны, с фронта сюда, домой, в мирную повседневную жизнь.

Никита Иванович хотел уже было подойти к нему, взять в руки, чтоб удостовериться, так ли все это на самом деле, но потом лишь улыбнулся и закрыл за собою дверь в светелку.

Мягкий пружинчатый диван он во всю ширь раскладывать не стал, а прилег лишь на одной узенькой половинке-створке, чтоб, как только вернутся Василий с Наташей или ударит Зорянка рогами в калитку, так мигом пробудиться и быть в полной боевой готовности.

Сон навалился на Никиту Ивановича в одну минуту, и такой дремотный, каким Никита Иванович спал в последний раз, может быть, еще в далеком-предалеком младенчестве-детстве при отце и матери ранней майской весной, когда начинали расцветать белокипенные сады, река была в широком, неохватном разливе, свежевспаханная земля исходила теплым живительным паром, а Никиту не могли разбудить своим неудержимым щебетанием даже ласточки, только что прилетевшие в родные края из дальних, заморских стран.

Василий и Наташа вернулись домой уже в густых сумерках. Выехали они от Сергея вроде бы еще и засветло с твердым расчетом поспеть как раз к вечерней дойке, но в дороге нежданно-негаданно обломались. Motor забарахлил, зачихал, закашлял, а потом и вовсе умолк. Пока искали причину поломки, чинились, прошло, наверное, часа полтора. Наташа вся извелась, горюя о недоеной корове, о некормленной остальной живности: привередливом поросенке, бычке, курах-утках, но больше всего переживая за главного своего подопечного, Никиту Ивановича, — как он там поел чего, попил или голодный и обиженный лег спать в своей клетушке — всего-то ведь и оставила ему на целый день, что горку творожных блинчиков да полкувшина молока.

Как только машина причалилась ко двору, Наташа, не переодеваясь и не заглядывая в дом, подхватила в сених доенку и побежала к корове. Дойти ее в сарае было уже темновато, и Наташа выманила Зорянку на свежий воздух к жердяной изгороди-коновязи, которую Василий нарочито устроил для таких вот непредвиденных случаев. Пока Зорянка нехотя поднималась (устроилась, улеглась уже на ночлег недоенная) и брела к коновязи, Наташа, не на шутку встревожившись, заглянула к поросенку и бычку: что-то они подозрительно помалкивали, не выдавая себя ни хрюканьем, ни мычанием, чего никак не могло быть — за день ведь изголодались, измаялись и теперь должны были встретить нерадивую хозяйку полным негодованием. Но они голоса не подавали, а лишь сонно посапывали на подстилке, тоже приладились уже на ночлег. В корытце у кабанчика, крепко-накрепко притороченном к дверному косяку, Наташа обнаружила недоеденную болтушку густого замеса, а в яслях у бычка добрую охалку травы, причем не лугового гусятника, а садовой овсяницы, осота и пырея.

— Ты погляди, — крикнула изумленная Наташа через весь двор Василию, — чего тут дед Никита натворил (они промеж собой звали теперь Никиту Ивановича дедом Никитой, переняв это обращение от детей и внуков).

— Чего?! — оставив машину, подошел к ней Василий.

— Так чего, — всплеснула руками Наташа. — И поросенка накормил, и бычку травы в вишеннике накосил, ясли ломаются!

Василий вначале с недоверием заглянул в закуту к кабанчику, подержал даже корытце за проволоку, потом приоткрыл ворота в загородку к сытно накормленному бычку, помял траву в горсти и изумился не меньше Наташи:

— Надо же!

А Наташа тем временем углядела еще одно свершение деда Никиты:

— И воды полную бочку наносил!

— Так уж и полную?! — совсем не поверил ей Василий.

— А откуда же она тогда взялась?! — пристроилась на ослончике подле Зорянки Наташа. — Ты ведь утром не накачивал?!

— Не накачивал, — повинился Василий. — Некогда было.

Он обследовал бочку, будто видел ее впервые, пожал плечами и пошел назад к гаражу пристраивать на ночлег и отдых машину. Провозился Василий там, наверное, минут десять, а потом с освободившимся из-под яблоч и груш лукошком проследовал в поветь, чтоб поставить его в привычном месте, сразу за дверью, в уголке. И вдруг выглянул из повети и позвал Наташу:



— Иди сюда, иди!

— Ну, что там у тебя?! — перестала вжикать в доенку тугой молочной струей Наташа.

— Да ты подойди! — не унимался, требовал ее к себе Василий.

Наташа отставила в сторону доенку, чтоб разгневанная неурочной да еще с перерывами дойкой Зорянка не опрокинула ее ногой, и заглянула в повесть.

— Дед Никита раму связал! — встретил ее на пороге Василий. — Да ты погляди — какую!

Чтоб Наташе было лучше рассмотреть раму, Василий включил в мастерской яркий электрический свет, а саму раму положил на верстак, словно на выставке-ярмарке перед возможным покупателем.

Наташа за долгие годы жизни при столярах-плотниках, муже и свекре, в древесных изделиях кое-что понимала. Она погладила ладошкой гладко оструганные, без единой шершавинки брусья, коснулась и уголков с заделанными в потемок колышками, и перекрестья, подогнанного так, что женский волос там не просочится, и хотела уже восхититься сработанной дедом Никитой рамой, а еще больше самим дедом, который сподобился на шуточный в его возрасте и слабом здоровье подвиг, но Василий вдруг опередил ее. Он взял раму в руки, посмотрел верным глазом по периметру и диагоналям, глубоко вздохнул и признался Наташе:

— Мне такой не связать в жизнь!

Будь у Василия с Наташей в запасе побольше времени, то они, восхищаясь изделием деда Никиты, задержались бы в повести, может быть, даже на целых полчаса, но время поторапливало, подгоняло — августовская прохладная ночь уже окутывала темнотой и туманом все окрест. Наташа заторопилась назад к Зорянке, которая и вправду начала гневаться и негодовать от нерадения хозяйки, несколько раз переступила в беспокойстве с ноги на ногу и даже ударила рогами по изгороди-коновязи, а Василий пошел прикрыть на крючок задние ворота, чтоб они ночью не скрипели и не хлопали на ветру.

Но прежде, чем накинуть крючок, Василий выглянул для досмотра на огород: все ли там в порядке и ладу — и неожиданно (вначале даже с тревогой) заметил при свете рано взошедшей луны, как над банькой вьется-курится белесый стойкий дымок. Повременив с воротами, Василий забежал в баньку — и не поверил своим глазам: она была жарко и неистово натоплена; вода в котле кипела и побулькивала, норовя сорвать крышку; камни в парилке раскалились едва ли не докрасна — только плесни на них из ковшика квасом, и они тут же вспыхнут и зашипят, извергая под самый потолок высокое облако-вулкан сухого пара.

— Наташа! — опять позвал ее к себе Василий, поспешно возвратясь во двор. — Скорее управляйся с Зорянкой, дед баньку протопил — парить-ся будем!

— Баньку?! — только и нашла, что ответить Наташа.

Парильщицей и банщицей она была запальчивой. Любила веселое это занятие пуще любого иного. Бревенчатую их старинную баньку берегла и обихаживала, словно малого ребенка, и настоятельно побуждала к тому Василия: чтоб и котел, и печка всегда были исправны, чтоб веники заготавливались вовремя и в хорошем запасе на всю зиму, а уж про банный квас и вовсе говорить не приходилось. Наташа заводила его, настаивала на целебных душистых травах в дубовом емком бочоночке, который хранился под особым ее присмотром в погребе. В баньку Наташа подавала квас

тоже в дубовом цеберке-ушате, откуда и скоро было зачерпывать медным ковшиком. (Чтоб банька была похожа на баньку, в ней все важно: и посудина, и веник, и камень — какого они происхождения и выделки). Она, будто по какому наитию, переняла все банные премудрости от погибшего на войне деда Ивана, хотя ни разу и не видела его в жизни, а только слышала подробные рассказы о нем свекра. Но вот же, переняла и запомнила — и дважды приглашать ее в баньку не требовалось.

В последний раз вжикнув в доенку уже ослабевшей струйкой, Наташа отпустила Зорянку в сарай, а сама, даже не процеживая молоко, заторопилась на призыв Василия.

Она лишь забежала на мгновение в дом, выхватила наугад из шифоньера два банных полотенца да нательное белье для себя и мужа и явилась в предбаннике прежде, чем Василий успел подбросить в печку охапку дров, предусмотрительно оставленных возле поддувала дедом Никитой.

— Ну, как он там? — помешивая на колосниках розовато-вишневые угли, поинтересовался Василий.

— Да вроде бы спит, — без особого даже внимания на это его беспокойство ответила Наташа, уже вся в предчувствии жаркого банного дела. — Я к нему не заглядывала.

Мылись-парились они недолго, время все-таки поджимало, поторавливало (ночное уже, считай, было время, не банное). Пару и веников ни Василий, ни Наташа не щадили, изнемогали под ними и томились до последнего предела и в два голоса не переставали поминать деда Никиту добрым, похвальным словом:

— Ну, дед Никита! Ну, дед!

Вышли они из баньки едва-едва живые. Василий пригасил в печке недогоревшие дрова и угли, опасаясь оставлять их без присмотра в ночи, а Наташа тем временем пошла к летней кухоньке развесить там на веревочке, протянутой от подсохи к подсохе, мокрые полотенца. И вдруг закричала оттуда с новым удивлением:

— Дед Никита плиту переложил!

Василий выключил в баньке все огни, поплотней прикрыл дверь и поспешил к Наташе.

Луна, поднявшись уже в полнеба, светила ярче любых огней, и Василий с Наташей при ее высококом сиянии начали осматривать плиту, открывать для пробы дверцу и кружки. Василий с удвоенным вниманием осмотрел смычку, стык печки с трубой, за которые сам при задуманном ремонте, по правде говоря, братья и побаивался (попадет встык или промахнется?!) и после опять глубоко вздохнул и с нескрываемой завистью сказал:

— Мне такой печки в жизнь не сложить.

— Чего там не сложить?! Сложишь! — приободрила его Наташа. — И твоя была не хуже: не дымила, не прикидывала и разжигалась с одной спички.

Но Василий, похоже, не согласился с Наташей, еще раз изучил все швы и стыки, и еще раз вздохнул. Наташа с трудом увела его в дом.

Ужинать они решили на кухне, чтоб возбужденными после бани голосами или каким-нибудь неосторожным движением до срока не обеспокоить деда Никиту. Наташа достала из печи горшочки с борщом и тушеной картошкой, заглянула в них и не смогла сдержать улыбки.

— Ты только глянь, — показала она горшочки Василию, — дед Никита и поел здорово! Полгоршика борща и полгоршика картошки!

— Да он и рюмочку, кажись, выпил, — достал из серванта хорошо початый графинчик Василий.

В гостях у Сергея он, будучи за рулем, при машине к рюмке не прикоснулся, а теперь чего ж было не наверстать упущенное, да еще после бани, когда, как любит повторять дед Никита, крест продай, а выпей.

Когда стол был накрыт, рюмки наполнены, Наташа засомневалась насчет деда Никиты:

— Ну, что, станем будить?!

— Пусть спит, — рассеял ее сомнения Василий.

Но Наташа его не послушалась, а сходила на цыпочках в горницу и постояла минуты две возле двери в светелку деда Никиты, чтоб удостовериться, спит он на самом деле или, может быть, давно уже бодрствует, тогда будет неудобно обделить его ужином. Но дед Никита вроде бы спал, по крайней мере, свет из-под двери не пробивался, да и никакого движения или звука (глухого, к примеру, привычного для деда Никиты покашливания) Наташа не расслышала.

«Пусть спит!» — согласилась она теперь с Василием и все так же на цыпочках пошла назад на кухню, но в горнице возле стола Наташа на мгновение замедлила шаг и при лунном горении вдруг заметила странный какой-то бумажный треугольничек, прислоненный к вазочке с цветами-астрами. Она взяла его немного даже с опаской и, не разглядывая и не изучая, что это за треугольничек и зачем он прислонен был к вазочке, понесла его на кухню Василию.

— Письмо нам, что ли?! — передала Наташа ему находку.

— От кого же это письмо?! — тоже не без опаски и удивлений принял Василий из рук в руки треугольничек. — От Вани, от Даши?

— Да нет, — теперь только, взглянув через плечо Василия, прочитала Наташа на лицевой стороне треугольничка надпись. — Кажется, дед Никита нам письмо прислал.

Василий подержал минуту-другую треугольничек в руках, с изумлением изучая написанные карандашом крупные печатные буквы: «*Василию и Наташе*», потом перевернул его тыльной стороной, где написано ничего не было, а лишь стремительно бежали продольные голубенькие линейки, подержал еще немного и наконец начал разворачивать.

— Ну что там? — с тревогой в голосе спросила Наташа.

— Так что! — успокаиваясь сам и успокаивая Наташу, ответил Василий. — Слушай!

И он неторопливо, но громко и выразительно, как обычно читал письма от детей, а с недавних пор уже и от внуков, огласил Наташе краткое послание деда Никиты:

*«Здравствуйте, дорогие мои Василий и Наташа!*

*Я все по мере возможности сделал и лег отдохнуть.*

*Низкий поклон всем родным и близким, всем сродственникам и знакомым.*

*Ваш отец Никита Иванович».*

— Ну, что ты с ним сделаешь?! — от души рассмеялась Наташа и, подняв высоко над столом рюмку, предложила. — Давай выпьем за здоровье деда Никиты. Какой молодец дед! Какой молодец!

— Давай! — тоже легко вскинул свою рюмку Василий.

С хрустальным серебряным звоном они чокнулись рюмками и безотрывно, до дна выпили за здоровье деда Никиты, ни капельки не оставив на слезы...

\* \* \*

А рано поутру Василий и Наташа обнаружили деда Никиту в его горенке-светелке уже бездыханным. Обычно он поднимался чуть свет, едва вставало солнце, и сам являлся на завтрак, а тут что-то залежался, и Наташа решила заглянуть в его покои: если спит после вчерашних праведных трудов, так пусть и спит, а если пробудился, то, может, подсобить ему в чем надо, постель собрать, диван сложить.

Дед Никита спал. Вытянувшись в струнку и высоко запрокинув голову, он лежал на узенькой створке дивана навзничь. Крупные его руки, с узловатыми, изработавшимися пальцами, были сложены на груди и крепко, так, что даже в нескольких местах байковая голубенькая рубаша собралась в складки, прижаты к ней. Раннее утреннее солнце, пробившись сквозь окошко, освещало его тихое, спокойное лицо, потерявшее во сне все морщины и даже фронтовую рану возле правого виска. При свете этого нежаркого, но щедрого солнца дед Никита был по-стариковски красив: в его простом крестьянском облике проступало не замечаемое прежде Наташей величие.

Но вот солнце соскользнуло с лица на пепельно-седые волосы деда Никиты, заиграло в них веселым зайчиком, запуталось лучиками (не поймешь даже, где волосы, а где лучики), а потом вдруг вернулось назад и замерло на глазах деда Никиты, будто поторапливая его поскорее проснуться и обрести дневную жизнь.

И тут Наташа заподозрила неладное. На утреннюю игру и побудку солнца дед Никита никак не отозвался и не откликнулся: на твердо смеженных его веках не вздрогнула ни единая жилочка, ни единая черточка.

— Василий! — не теряя еще надежды, крикнула в горницу Наташа и тут же приложила ко лбу, к челу деда Никиты вздрогнувшую свою ладошку. Лоб у деда Никиты был горячим только извне, от лучей уже начавшего разгораться в полную силу солнца, а изнутри — холодный и остывший.

Василий, только войдя на порог светелки и только взглянув на деда Никиту, сразу все понял и обо всем догадался. Ничего говорить Наташе он не стал, а лишь обнял ее за плечи и прижал к себе.

В горнице Василий с Наташей наполнили стакан рожью, житом, зажегли в нем восковую свечу и, вернувшись назад в светелку, водрузили его на подоконник. Подождав, пока поминальная свеча разгорится поярче, затмевая своим вытянувшимся высоко вверх огоньком-пламенем свет утреннего солнца, они встали у изголовья деда Никиты, опять обняли друг друга за плечи — и заплакали...

24.01. — 12.04.2009 г.  
г. Воронеж

Публикация И.И. Евсеенко-младшего

